

8(c)p

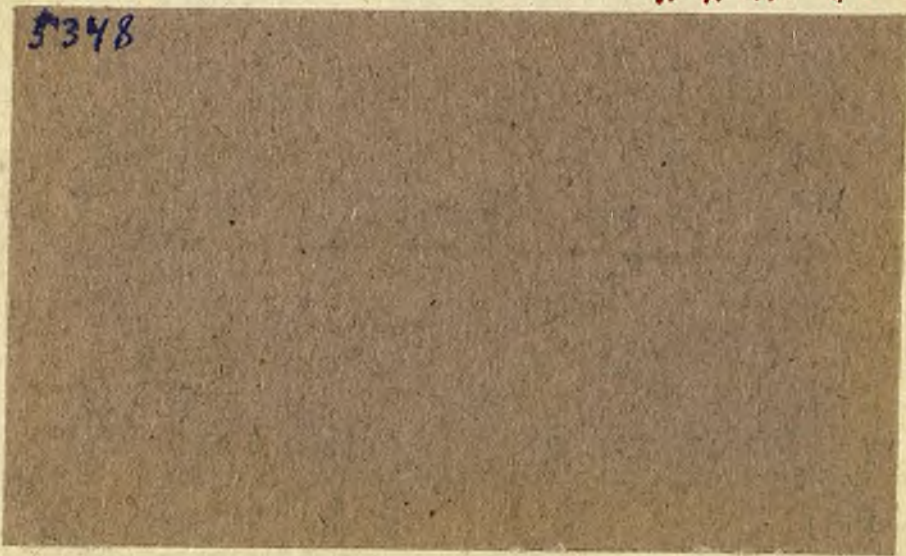
A 37

214

1090 P. 115. 011
10. 5. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11.

5348



891

А 34

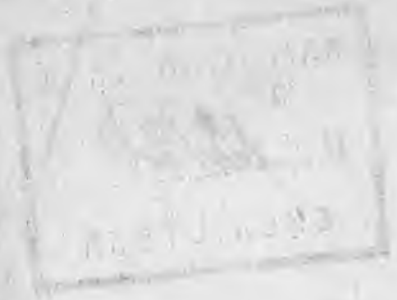


СТОРЕ

2(1)

БЪЛГАРСКО

Maximus



H

4

1840

1840

891

A-37

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ



8/9/6

A37

СПОРЪ

○

БЪЛИНСКОМЪ

ОТВѢТЬ КРИТИКАМЪ



МОСКВА — 1914.

5348
20
X

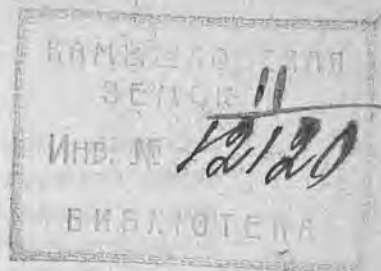
С. ПЕТРОВ

СПОРЪ

ВЪЛНЬКОМЪ

С. ПЕТРОВ

Типографія и цинвогр. т./д. «Мысль» (Н. П. Меснянинъ и Ко),
Москва, Петровка, 17.



Мой очеркъ о Бѣлинскомъ («Силуэты русскихъ писателей», вып. III, изд. второе) вызвалъ очень рѣзкіе возраженія и протесты. И поскольку они составляютъ проявленіе оскорбленной любви къ Бѣлинскому, я ихъ понимаю, цѣню, и мнѣ самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитаго критика я сдѣлалъ больно искреннимъ почитателямъ его памяти. Но, разумѣется, иначе поступить я не могъ, потому что обязанъ былъ сказать свою правду, чего бы это ни стоило мнѣ, чего бы это ни стоило другимъ.

Однако, въ томъ возмущеніи, какое встрѣтилъ мой силуэтъ, большую роль сыграли также непомѣрный консерватизмъ и слишкомъ почтительное отношеніе къ авторитетамъ—то «литературное идолопоклонство», съ которымъ боролся когда-то—оказывается, не вполне успѣшно—самъ Бѣлинскій и о которомъ онъ такъ хорошо говорить въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»: «...Мы и въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ... Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ рѣзкую правду, у насъ—святотатство. И добро бы еще это было вслѣдствіе убѣжденія! Нѣтъ, это просто изъ нелѣпаго и вреднаго приличія или изъ боязни прослыть выскочкою, романтикомъ... Знаете ли, что наиболѣе вредило, вредить и, какъ кажется, еще долго будетъ вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многолюднаго Олимпа и нимало не

заботимся о томъ, чтобы справляться почаще съ метриками, дабы узнать, точно ли небснаго происхожденія предметы нашего обожанія».

Дѣйствительно, уже первый откликъ на мою статью, фельетонъ П. Н. Сакулина въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* («Бѣлинскій—миоѣ», отъ 3 окт. 1913 г.) содержитъ въ себѣ прямое запрещеніе спорить о Бѣлинскомъ и относиться какъ-нибудь иначе къ нему, чѣмъ благоговѣнно. «Его (Бѣлинскаго) мѣсто давно уже опредѣлено нелицепріятнымъ судомъ исторіи; его имя—свято. Давно уже Бѣлинскій находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать въ хулу Бѣлинскому, уже сказано гораздо ранѣе г. Айхенвальда. Развѣнчать Бѣлинскаго нельзя»: вотъ что заявляетъ уважаемый авторъ.

Слишкомъ понятно, какъ въ устахъ ученаго странны, опасны и нелиберальны эти душныя слова. Вѣдь для науки нѣтъ никого святого, наука не канонизируетъ, и заколдованнымъ кругомъ, «чертой досягаемости», она изъ своихъ предметовъ не обводитъ ничего. Если считать Бѣлинскаго иконой, святымъ, и если думать, что исторія сказала о немъ послѣднее, окончательное слово (хотя у науки послѣднихъ словъ не бываетъ), то въ такомъ случаѣ, но только въ такомъ, я въ самомъ дѣлѣ виноватъ уже тѣмъ, что рѣшился посмотреть на него собственными глазами. Если Бѣлинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, какъ до П. Н. Сакулина сказалъ Некрасовъ: «учитель, передъ именемъ твоимъ позволю смиренно преклонить колѣни»), то о немъ вообще нельзя и разговаривать; и въ такомъ случаѣ, но только въ такомъ, г. Сакулинъ, со своей религіозной точки зрѣнія, правъ, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «поступокъ» (да еще «невѣроятный»), если я не просто свое мнѣніе высказалъ, а «осмѣлился посягнуть» на тѣнь прославленнаго критика, если я всѣмъ этимъ возбудилъ его «моральное негодованіе».

Правда, П. Н. Сакулинъ въ только что появившейся второй статьѣ своей «Психологія Бѣлинскаго» (*Голосъ минувшаго*,

IV, 1914 г.) говорить, что онъ «позволилъ себѣ» употребить слова, которыя я выше подчеркнулъ,—въ иномъ смыслѣ, именно въ томъ, что хотя «можно и даже должно продолжать изученіе» Бѣлинскаго, «но въ основномъ исторія уже произнесла свой приговоръ о немъ»; и объявлять, будто Бѣлинскій—легенда, низводитъ его «на` степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификація не моя) такъ же странно, какъ нелѣпо было бы «сводить къ нулю Ломоносова или Пушкина». Изъ этой поправки видно, что въ первый разъ П. Н. Сакулинъ свою подлинную мысль выразилъ очень дурно,—совершенно не тѣми словами. Кромѣ того, въ *Голосъ минушаго* онъ не объяснилъ, какъ же надо въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* понимать «хулу», «невѣроятный поступокъ», «осмѣлился посягнуть», «моральное негодованіе»: *этихъ* выраженій своихъ г. Сакулинъ и не истолковалъ, и не взялъ обратно.

Н. Л. Бродскій въ статьѣ «Развѣнчанъ ли Бѣлинскій?» (*Вѣстникъ Воспитанія*, I, 1914) тоже называетъ мои обвиненія послѣдняго «кошунственными», точно Бѣлинскій—Богъ или божественъ.

Свободу изслѣдованія почти всѣ оппоненты мои ограничиваютъ и тѣмъ, что мои взгляды на Бѣлинскаго пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тѣхъ, по большей части, выдающихся и знаменитыхъ людей, которые Бѣлинскаго прославляли. Такъ, П. Н. Сакулинъ напоминаетъ, что славу нашего критика творили Станкевичъ, Герценъ, Тургеневъ, Кавелинъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій, Некрасовъ, Ап. Григорьевъ и мн. др.: «все это—люди, которыхъ изъ десятка не выкинешь»; въ опроверженіе моей мысли объ умственной несамостоятельности Бѣлинскаго онъ, между прочимъ, апеллируетъ даже и къ школьному учителю его, М. М. Попову, и къ «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которыхъ «еще въ дѣтствѣ поражалъ» Бѣлинскій «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Такъ, г. Евг. Ляцкій въ статьѣ «Господинъ Айхенвальдъ около Бѣ-

линскаго» (*Современникъ*, I, 1914) сообщаетъ, что среди людей, пламенно и любовно относившихся къ Бѣлинскому, «были лица, во всякомъ случаѣ не уступавшія» мнѣ «въ критической проицательности и чуткости» (Некрасовъ, Тургеневъ, Герценъ, Гончаровъ). Такъ, Н. Л. Бродскій, хотя и «проходить мимо» отмѣченнаго П. Н. Сакулинымъ признанія учителя М. М. Попова, но «проходить мимо» такимъ образомъ, что объ этой педагогической оцѣнкѣ все-таки упоминаетъ, а, главное, свое убѣжденіе въ умственной независимости Бѣлинскаго онъ тоже обосновываетъ цитатами изъ Станкевича, Кавелина, Панаева, Ключникова, Одоевскаго, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродскій предупреждаетъ меня, что онъ это дѣлаетъ не «изъ почтительнаго реверанса передъ авторитетами», а потому, что слова лицъ, непосредственно общавшихся съ Бѣлинскимъ, «на корню видѣвшихъ его», должны звучать для меня гораздо убѣдительнѣе, чѣмъ только его, г. Бродскаго, собственныя слова, его личное мнѣніе, которое-де можетъ показаться мнѣ «бездоказательнымъ», «субъективнымъ», «пристрастнымъ».

Мнѣ отъ души жалко, что скромность Н. Л. Бродскаго ввела его здѣсь въ глубокое заблужденіе: какъ разъ наоборотъ,—малодоказательными для исторіи литературы, субъективными и пристрастными я считаю именно сужденія о Бѣлинскомъ его друзей, собесѣдниковъ и пріятелей, а безпристрастнымъ и не-«субъективнымъ» счелъ бы самостоятельное мнѣніе о немъ г. Бродскаго, который, понятно, съ Бѣлинскимъ лично не былъ знакомъ, а, подобно мнѣ, знаетъ только его писанія и его письма, отчего и можетъ судить о его литературной дѣятельности объективно, «научно», внѣ личной симпатіи или антипатіи.

Третьи лица въ тяжбѣ за Бѣлинскаго вообще ни при чемъ; я ихъ рѣшительно отвожу и на этой позиціи боя не принимаю. Въ своемъ силуэтѣ я не считался съ тѣми, кто Бѣлинскаго хвалить, но зато не опирался и на тѣхъ, кто его осуждаетъ; я позволилъ себѣ стать съ Бѣлинскимъ лицомъ къ лицу, безо всякихъ посредниковъ: это—мое право, и мнѣ

всегда хочется пить изъ своего стакана, хотя и маленькаго. Убѣжденъ, что въ интересахъ умственной гигиены такъ же точно поступаютъ и мои противники. Вотъ почему не выраженіемъ духовнаго бюрократизма и мѣстничества, а только непослѣдовательностью съ ихъ стороны я признаю то, что, напримѣръ, г. Ляцкій своему отвѣту на мою статью даетъ презрительное заглавіе: «Господинъ Айхенвальдъ около Бѣлинскаго» или что г. Ивановъ-Разумникъ тоже позволяетъ себѣ дешевое удовольствіе глумленія, трижды играя на сопоставленіи именъ: Виссаріонъ Бѣлинскій и Юлій Айхенвальдъ.

Прежде чѣмъ меня опровергать, критики моего силуэта устанавливаютъ, что мое пониманіе Бѣлинскаго далеко не ново. «Нѣтъ ни одного новаго факта... Аргументація—самая избитая, которой уже не разъ пользовались разные хулители Бѣлинскаго»—утверждаетъ П. Н. Сакулинъ. Ему вторитъ Н. Л. Бродскій: «Факты, указанные имъ» (т. е. мною), не новы, да и характеристика не блещетъ свѣжестью». «Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы одинъ оригинальный аргументъ, хоть бы новое освѣщеніе старыхъ извѣстныхъ фактовъ! Ни того, ни другого, ни третьяго»—огорченно восклицаетъ г. Ивановъ-Разумникъ («Правда или кривда?» въ *Завѣтахъ*, XII, 1913 г.).

Въ самомъ дѣлѣ,—новыхъ фактовъ въ моемъ распоряженіи не было; да ихъ, впрочемъ, и не могло быть, потому что не открыты были какія-нибудь новыя сочиненія Бѣлинскаго. А если, какъ заявляютъ мои оппоненты, я не далъ даже новаго освѣщенія старыхъ фактовъ, если я говорю о Бѣлинскомъ нѣчто избитое и несвѣжее, то становится совершенно непонятнымъ,—изъ-за чего же поднять весь этотъ шумъ вокругъ моей статьи, изъ-за чего же излился на меня весь этотъ фіаль негодованія?

Нѣкоторые мои противники сами видятъ, что здѣсь есть какая-то непослѣдовательность, и стараются оправдать ее.

Такъ, если мой очеркъ «поразилъ» г. Бродскаго, то потому, что «слишкомъ неожиданно было увидѣть г. Айхенвальда среди раболѣпствующихъ публицистовъ, отступниковъ или людей, ослѣпленныхъ партійной страстью, не могшихъ понять, на кого неслись ихъ хулы».

Это замѣчаніе, въ свою очередь, поражаетъ меня: въ своей рецензій Н. Л. Бродскій, не только за мой силуэтъ Бѣлинскаго, но и за мои писанія вообще, даетъ мнѣ, какъ литератору, такую уничтожающую характеристику, такъ черно рисуется мой нравственный авторскій обликъ, такъ неумолимо отказываетъ мнѣ даже въ писательской честности и чувствѣ общественности, и чувствѣ правды, что лишь въ силу противорѣчія съ самимъ собою могъ онъ изумиться, увидѣвъ меня въ дурномъ обществѣ.

Г. Ивановъ-Разумникъ тоже, поговоривъ о моей статьѣ, потомъ спрашиваетъ себя, стоило ли о ней вообще говорить. На свой вопросъ онъ отвѣчаетъ утвердительно: «Стоило, и по многимъ причинамъ. Главная изъ нихъ, какъ это ни странно, та, что широкая масса «читающей публики» знаетъ и Бѣлинскаго и вообще нашихъ классиковъ только по наслышкѣ и по школьнымъ воспоминаніямъ... Вотъ почему и статья г. Ю. Айхенвальда можетъ для нихъ (для широкихъ читающихъ круговъ) оказаться вполне по плечу: субъективныя «импрессіи» этого критика, который терпѣть не можетъ Бѣлинскаго, покажутся этимъ читателямъ объективной истиной».

Съ этимъ я согласенъ: не многіе знаютъ Бѣлинскаго, — даже не всѣ изъ его защитниковъ (я не говорю о специалистахъ по исторіи литературы). И г. Ивановъ-Разумникъ вполне правъ, если, думая, что моя характеристика знаменитаго критика инымъ покажется объективной истиной, какъ разъ поэтому («главная причина») не замалчиваетъ ея, а разрушаетъ.

Мои оппоненты вообще правы въ томъ, что взглядъ мой на Бѣлинскаго вовсе не представляетъ въ нашей литературѣ какой-то новости, какой-то неслыханной ереси (на это, впро-

чемъ, я въ данномъ случаѣ, какъ и въ остальныхъ, даже и не притязалъ: меня никогда не интересуетъ, новы ли мои воззрѣнія или нѣтъ,—были бы вѣрны). Нехорошо только то, что мои противники, хотя и непреднамеренно, вызываютъ у несвѣдущихъ читателей такое представленіе, будто о Бѣлинскомъ дурно отзывались одни лишь дурные—обскуранты, «раболѣпствующіе публицисты, отступники», «ослѣпленные партійной страстью», «Шевыревъ, Булгаринъ, Погодинъ и компанія», тѣ, которые, по неизящному выраженію г. Иванова-Разумника, «много лѣтъ подрядъ жевали старую жвачку о «недоучившемся студентѣ»¹⁾.

На это я скажу: во-первыхъ, ни Шевырева, ни Погодина, ни Полевого я къ обскурантамъ и отступникамъ не причисляю; во-вторыхъ, среди отрицателей Бѣлинскаго есть люди, которыхъ къ темному стану Россіи не припишутъ и мои критики.

И прежде всего я назову два великихъ имени: Толстой и Достоевскій.

«Ну, какія мысли у Бѣлинскаго!—пренебрежительно заявилъ Толстой въ 1903 году сотруднику «Южнаго Телеграфа»: сколько я ни брался, всегда скучалъ, такъ до сихъ поръ и не прочелъ» («Книжный Вѣстникъ» 1903 г. № 3)²⁾.

Въ книгѣ В. Лазурскаго «Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ» на стр. 37 воспроизводится такой отзывъ Толстого: «Бѣлинскій—болтунъ; все у него такъ незрѣло. Правда, у него есть и хорошія мѣста; онъ—способный мальчикъ... Но если Бѣлинскаго и другихъ русскихъ критиковъ перевести на иностранные языки, то иностранцы не стануть читать: такъ все это элементарно и скучно».

¹⁾ Только П. Н. Сакулинъ (и только во второй своей статьѣ) приводитъ въ краткихъ выдержкахъ немногіе образцы отрицательныхъ сужденій о Бѣлинскомъ—то, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ называетъ «дерзкими вылазками».

²⁾ Эту цитату, какъ и ту дальнѣйшую, которая относится къ Ю. Самарину, я беру изъ книги С. Ашевскаго «Бѣлинскій въ оцѣнкѣ его современниковъ», стр. 318, 64—66.

Я сознаюсь: тягостно какъ-то цитировать извѣстныя письма Достоевскаго къ Страхову (1871 г.), но мои критики вынуждаютъ меня къ этому; да и въ интересахъ дѣла — напомнить то мнѣніе Достоевскаго о Бѣлинскомъ, которое выражено въ интимной формѣ частнаго письма и потому содержитъ въ себѣ наибольшую мѣру искренности.

Достоевскій пишетъ: «Бѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цѣните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда (о Бѣлинскомъ еще много будетъ сказано впослѣдствіи, вотъ увидите)... Я обругалъ Бѣлинскаго болѣе, какъ явленіе русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе — въ неизбежности этого явленія... Вы никогда его не знали, а я зналъ и видѣлъ и теперь осмыслилъ вполне... Онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. — Вы говорите, онъ былъ талантливъ. Совсѣмъ нѣтъ, и, Боже! какъ навралъ о немъ въ своей статьѣ Григорьевъ! Я помню мое юношеское удивленіе, когда я прислушивался къ нѣкоторымъ чисто-художественнымъ его сужденіямъ (наприм., о «Мертв. душахъ»); онъ до безобразія поверхностно и съ пренебреженіемъ относился къ типамъ Гоголя и только разъ былъ до восторга, что Гоголь *обличилъ*. Здѣсь, въ эти 4 года, я перечиталъ его критики. Онъ обругалъ Пушкина, когда тотъ бросилъ свою фальшивую ноту и явился съ повѣстями Бѣлкина и съ Арапомъ. Онъ съ удивленіемъ провозгласилъ ничтожество повѣстей Бѣлкина. Онъ въ повѣсти Гоголя *Коляска* не находилъ художественнаго цѣльнаго созданія и повѣсти, а только шуточный рассказъ. Онъ отрекся отъ окончанія «Евгенія Онѣгина». Онъ первый выпустилъ мысль о камеръ-юнкерствѣ Пушкина. Онъ сказалъ, что Тургеневъ не будетъ художникомъ, а между тѣмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго рассказа Тургенева «Три портрета». Я бы могъ вамъ набрать такихъ примѣровъ сколько угодно, для доказательства неправды его

критическаго чутья и «воспріимчиваго трепета», о которомъ враль Григорьевъ (потому что самъ былъ поэтъ). О Бѣлинскомъ и о многихъ явленіяхъ нашей жизни судимъ мы до сихъ поръ еще сквозь множество чрезвычайныхъ предразсудковъ».

Я не вѣрю, чтобы кн. Вяземскій, другъ Пушкина, писатель яркаго ума, талантливый, въ сужденіяхъ независимый и оригинальный, не былъ искрененъ и руководился литературными или партійными счетами, когда такъ послѣдовательно отвергалъ Бѣлинскаго и не находилъ въ себѣ терпѣнія «дочитывать до конца ни одной изъ его ужасно-длинно-много-пустословныхъ статей». Въ свою записную книжку онъ вноситъ такія строки: «Есть у насъ грамотѣи, которые печатно распинаятъ за геніальность Бѣлинскаго. Нѣтъ повода сомнѣваться въ добросовѣстности ихъ, а еще менѣе заподозрѣвать ихъ смиренномудріе; стараться же вразумить ихъ и входить съ ними въ преніе — дѣло лишнее; имъ и книги въ руки, т. е. книги Бѣлинскаго. Бѣлинскій здѣсь въ сторонѣ; онъ умеръ и успокоился отъ тревожной, а можетъ быть и трудной жизни своей. Онъ служилъ литературѣ, какъ могъ и какъ умѣлъ. Не онъ виноватъ въ славѣ своей, и не ему за нее отвѣтствовать. Глядя на посмертныхъ почитателей его, нельзя не задать себѣ вопроса, до какихъ безконечно-малыхъ крупинокъ должны снисходить умственныя способности этихъ господъ, которые становятся на ципочкахъ и карабкаются на подмости, чтобы съ благоговѣніемъ приложиться къ кумиру, изумляющему ихъ своею величавою высотой» (Полное собраніе сочин. кн. П. А. Вяземскаго, VIII, 139). По поводу воспоминаній о Бѣлинскомъ Тургенева пишетъ кн. Вяземскій Погодину: «Оставимъ Тургеневу превозносить Бѣлинскаго, *идеалиста въ лучшемъ смыслѣ слова*, какъ онъ говоритъ... Приверженецъ и поклонникъ Бѣлинскаго въ глазахъ моихъ человѣкъ отпѣтый, и просто сказать пѣтый дуракъ... Тургеневъ просто хотѣлъ задобрить современныя предержавшія власти журнальныя и литературныя. Въ статьѣ его есть отсутствіе ума и нравственнаго

достоинства. Жаль только, что это напечатано въ «Вѣстникѣ Европы» (X, 265).

Благородный Юрій Самаринъ даетъ слѣдующую удивительно мѣткую характеристику Бѣлинскаго, — и прекрасный, учтивый тонъ ея еще больше отгѣняется послѣдовавшимъ на нее грубымъ отвѣтомъ нашего критика. Бѣлинскій, по Самарину, «почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Совсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая наконецъ обратилась въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей. Конечно, заимствование само по себѣ не только безвредно, даже необходимо; бѣда въ томъ, что заимствованная мысль, какъ бы искренно и страстно онъ ни предавался ей, все-таки остается для него чужою: онъ не успѣваетъ претворить ее въ свое достояніе, усвоить себѣ глубоко, и къ несчастью усваиваетъ настолько, что не имѣетъ надобности мыслить самостоятельно. Этимъ объясняется необыкновенная легкость, съ которою онъ мѣняетъ свои точки зрѣнія и мѣняетъ бесплодно для самого себя, потому что причина перемѣнъ — не въ немъ, а внѣ его. Этимъ же объясняется его исключительность и отсутствіе терпимости къ противоположнымъ мнѣніямъ; ибо кто принимаетъ мысль на вѣру, легко и безъ борьбы, тотъ думаетъ такъ же легко навязать ее другимъ, и рѣдко признаетъ въ нихъ разумность сопротивленія, котораго не находитъ въ себѣ. Наконецъ, въ этой же способности увлекаться чужимъ заключается объясненіе его необыкновенной плодовитости. Собственный запасъ убѣжденій вырабатывается медленно, но когда этотъ запасъ

берется уже подготовленный другими, въ немъ никогда не можетъ быть недостатка. Разумѣется, при такого рода дѣятельности, талантъ писателя не можетъ возрастать».

Тотъ же Юрій Самаринъ на высокую оцѣнку Бѣлинскаго Герценомъ отозвался словами пушкинскаго Донъ-Жуана передъ статуей Командора: «Какія плечи! что за Геркулесь! А самъ покойникъ малъ былъ и тщедушень!»

Да, правъ Самаринъ: всегда памятники больше покойниковъ...

Можно было бы еще много процитировать отрицательныхъ мнѣній о Бѣлинскомъ, произнесенныхъ умными и чистыми людьми, видными дѣятелями русской культуры.

Насколько своимъ силуэтомъ я не сказалъ о Бѣлинскомъ чего-то неслыханно дерзостнаго и для специалистовъ неожиданнаго, легко усмотрѣть и изъ того, что незадолго до моей статьи, въ 1912 году, появилась въ Н.-Новгородѣ книжка П. И. Вишнеvsкаго: «Н. В. Гоголь и В. Г. Бѣлинскій», гдѣ отведены послѣднему вполнѣ осуждающія страницы и дѣятельность его охарактеризована какъ «сплетеніе лжи, краснобайства и фразерства» (стр. 139). Правда, у большинства рецензентовъ книжка г. Вишнеvsкаго встрѣтила пренебреженіе; но это еще не говоритъ противъ нея.

Всѣ эти чужія слова я привожу совсѣмъ не въ подтвержденіе своихъ (какъ я уже сказалъ, мнѣ чужого не надо), а въ опроверженіе той мысли моихъ оппонентовъ, будто отрицаніе Бѣлинскаго является признакомъ раболѣпствующаго обскурантизма и отжило свой вѣкъ.

Иныхъ критиковъ моихъ, на примѣръ—г. Ч. В—скаго (*Вѣстникъ Европы*, XII, 1913 г.), особенно поразило то, что я не вижу въ Бѣлинскомъ, какъ я выразился, «органическаго либерализма, тѣхъ предчувствій и влюбленныхъ чаяній свободы, которыя такъ обязательны для высокой души, и особенно для души молодой». П. Н. Сакулинъ по этому поводу изумляется, что

я хочу «быть plus royaliste, que le roi»; г. Ч. В—скій иронически называетъ меня «свободолюбивымъ» (хотя я рѣшительно не могу припомнить, гдѣ, когда и въ чемъ проявилъ я несвободолюбіе).

Въ связи съ этимъ важно исправить одну существенную логическую ошибку П. Н. Сакулина. Условно соглашаясь на минуту съ моимъ пониманіемъ Бѣлинскаго, онъ спрашиваетъ, чѣмъ же въ такомъ случаѣ объяснить славу нашего критика: «Можетъ быть, панегиристы Бѣлинскаго страшно увлеклись, цѣня его либерализмъ? Вѣдь у насъ есть эта замашка — расхваливать человѣка за либеральный образъ мыслей». И на свой вопросъ г. Сакулинъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ, и эта причина не объясняетъ намъ дѣла: Ю. И. Айхенвальдъ убѣжденно говоритъ, что «Виссаріонъ Отступникъ», эта сума переметная, былъ либераломъ весьма сомнительнаго свойства». Такъ вотъ, логическая ошибка моего рецензента — въ томъ, что онъ смѣшиваетъ здѣсь панегиристовъ Бѣлинскаго со мною: я-то, дѣйствительно, думаю, что Бѣлинскій былъ сомнительный либераль, но панегиристы его думали и думаютъ противоположное; оттого, ясное дѣло, мое отрицаніе либерализма въ Бѣлинскомъ не можетъ служить опроверженіемъ гипотезы, что другіе создавали ему славу именно за предполагаемый либерализмъ.

А самую гипотезу эту, недовѣрчиво предложенную П. Н. Сакулинымъ, я, съ своей стороны, признаю очень правдоподобной. Я глубоко убѣжденъ, что самой значительной долей своихъ лавровъ Бѣлинскій обязанъ своей репутаціи либерала (и даже радикала); и если бы не этотъ катехизисъ русскаго либерализма, знаменитое письмо къ Гоголю (какъ разъ его, по свидѣтельству Ив. Аксакова, многіе учителя знали наизусть, какъ разъ оно лежало у нихъ «будто Евангеліе»), — Бѣлинскій далеко не пользовался бы такою славой, и я не встрѣтилъ бы изъ-за него столько беспощадныхъ противниковъ.

Я всецѣло соглашаюсь съ замѣчаніемъ П. Н. Сакулина: «у насъ есть эта замашка — расхваливать человѣка за либеральный образъ мыслей»; и то я очень одобряю, что въ под-

твержденіе своего взгляда онъ цитируетъ самого Бѣлинскаго — изъ того же письма къ Гоголю: «у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ называемое, либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта», и «скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдающихъ себя въ услуженіе православію, самодержавію и народности». «И публика тутъ права» (я нѣсколько продолжаю сдѣланную П. Н. Сакулинымъ цитату)... «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простить ему зловредной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя еще въ зародышѣ, свѣжаго, здороваго чутья, и это же показываетъ, что у него есть будущность».

Я только считаю гибельной ошибкой со стороны Бѣлинскаго, что этому явленію онъ сочувствуетъ, а не вооружается противъ него всей душою. Ибо тяжкіе удары нашей культурѣ нанесъ и наноситъ этотъ хорошо подмѣченный и, къ несчастью, привѣтствуемый Бѣлинскимъ фактъ; ибо нѣтъ бѣльшаго грѣха противъ идеальныхъ цѣнностей, чѣмъ такое вопіющее искаженіе оцѣнокъ, такое униженіе таланта, такая подмѣна эстетики публицистикой; ибо до сихъ поръ страдаетъ наша мысль отъ этой духовной фальсификаціи. И то, что Бѣлинскій не былъ либераломъ въ истинномъ смыслѣ слова, т. е. что у него не было широты духа и настоящей духовной свободы, — это я утверждаю между прочимъ и на основаніи какъ разъ той цитаты, которую, въ невольный ущербъ Бѣлинскому, привелъ П. Н. Сакулинъ.

И какъ одну изъ типичныхъ иллюстрацій того рокового недоразумѣнія, которое, въ его фактической сути, замѣтили В. Г. Бѣлинскій и П. Н. Сакулинъ и укрѣпленію котораго первый необычайно способствовалъ своимъ примѣромъ, — я выпишу сужденіе г. Евг. Ляцкаго изъ его статьи противъ меня: «Хотя я далеко не связываю поклоненія г. Айхенвальда идеалу чистаго искусства съ равнодушіемъ къ той общественной атмосферѣ, среди которой этотъ культъ является какъ бы

синонимомъ удаленія отъ шума житейской борьбы на горныя вершины созерцанія и въздыханія, тѣмъ не менѣе я беру на себя смѣлость утверждать, что между отрицаніемъ тріединой формулы у г. Айхенвальда и неприемлемостью для него «публицистическихъ» стремленій Бѣлинскаго есть нѣчто необъяснимое, недоказанное, быть можетъ, даже... нѣчто недодуманное».

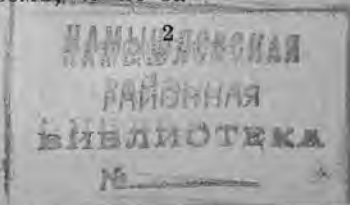
Дѣйствительно, здѣсь есть недодуманность, — но, кажется, не съ моей стороны. Если я отрицаю «тріединую формулу», то я обязанъ принять публицистическое отношеніе Бѣлинскаго къ искусству: вотъ та умственная узость, которой хотѣлъ бы отъ меня г. Ляцкій; ея отсутствіе — вотъ что кажется ему чѣмъ-то необъяснимымъ и недодуманнымъ. Что можно исповѣдовать политическій либерализмъ и въ то же время не требовать и не хотѣть отъ искусства публицистики, этого не допускаетъ г. Ляцкій. Что между равнодушіемъ къ общественности и любовью къ «идеалу чистаго искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существуетъ внутренней и необходимой связи, — эта азбука и до сихъ поръ остается недоступной для обитателей идейной тѣсноты. И такъ какъ я безусловно не причисляю къ нимъ Е. А. Ляцкаго, то я и удивляюсь, какъ это онъ «беретъ на себя смѣлость» утверждать то, что утверждаетъ.

Мои оппоненты страстно оспариваютъ и то мое указаніе, что Бѣлинскій не былъ послѣдовательно либераленъ не только въ томъ широкомъ смыслѣ, о которомъ я говорилъ выше, но и въ спеціальной сферѣ общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ея психологическіе нравы, онъ не съ протеста, не съ отрицанія началъ, а съ политическихъ утвержденій»... и на другія мои слова: «при первомъ же своемъ серьезномъ выступленіи, въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»,.. въ тяжелую и темную пору нашей жизни... юноша-Бѣлинскій, не задумываясь, дѣлается рапсодомъ» уваровской формулы, «знаменитыхъ сановниковъ», «просвѣщеннаго и благодѣтельнаго правительства», — на это

всѣ критики, кромѣ г. Ляцкаго, въ одинъ голосъ и прежде всего отзываюся, что я забылъ про «Дмитрія Калинина» (П. Н. Сакулинъ употребляетъ даже такое выраженіе, что я объ этой драмѣ и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродскій называетъ пьесу Бѣлинскаго «пламеннымъ памфлетомъ противъ «официальной» дѣйствительности»; г. Ивановъ-Разумникъ находитъ, что въ «Дмитріи Калининѣ» Бѣлинскій выражаетъ «самые «протестующіе» взгляды»; критикъ *Русскаго Богатства* (II, 1914 г.) г. А. Дерманъ мою мысль, что Бѣлинскій началъ съ политическихъ утвержденій, тоже опровергаетъ ссылкой на его трагедію и категорически освѣдомляетъ, что она «послужила причиной увольненія автора изъ университета».

5348
Миѣ неизвѣстно, является ли по своей научной специальности историкомъ литературы г. Дерманъ; если—нѣтъ, то вполне простительно, что онъ не читалъ или не запомнилъ такого ничтожнаго литературнаго памятника, какъ «Дмитрій Калининъ», и съ чужого голоса передаетъ миѣ о причинѣ увольненія Бѣлинскаго изъ университета. Но миѣ хорошо извѣстно, что какъ историки литературы достойно работаютъ у насъ въ наукѣ П. Н. Сакулинъ, Ивановъ-Разумникъ, Ч. В.—скій, Н. Л. Бродскій. И поэтому то, что *они* опираются въ данномъ случаѣ на «Дмитрія Калинина», удивляетъ меня и огорчаетъ несказанно. Разберемся.

Н. Л. Бродскій полагаетъ, будто упрекъ въ неупоминаніи «Дмитрія Калинина» я, быть можетъ, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имѣлъ въ виду чисто-литературныхъ произведеній Бѣлинскаго, а говорилъ о немъ, лишь какъ о критикѣ. Этотъ мой возможный аргументъ, по г. Бродскому, отпадаетъ, такъ какъ въ своемъ силуэтѣ я касался-де Бѣлинскаго цѣликомъ, — да такъ и надо дѣлать: вѣдь не писалъ же я самъ «только о стихотвореніяхъ Тютчева — указывалъ и на политическія статьи его» (мимоходомъ исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я *не* указывалъ на политическія статьи Тютчева, а разбиралъ только *стихотворенія* его, — между прочимъ, и политическія; такимъ образомъ, я не за-



служилъ здѣсь, чтобы мнѣ ставили въ примѣръ меня самого).

Почтенный критикъ не угадалъ, какъ я буду защищаться. Если бы я хотѣлъ прибѣгнуть подъ сѣнь формальныхъ доводовъ, я могъ бы опереться на то, что въ статьѣ я говорилъ о «*политическихъ* утвержденіяхъ», — а всѣ согласятся, что ужъ во всякомъ случаѣ *политическихъ* отрицаній въ «Дмитріи Калининѣ» нѣтъ; что я говорилъ о «первомъ *серьезномъ* выступленіи», — а всѣ согласятся, что дѣтскій, ниже литературной критики стоящій, наивный «Дмитрій Калининъ» не серьезенъ. Но я не прикрою себя этими соображеніями, а напомнимъ, что трагедія Бѣлинскаго, по существу, по своей идеѣ и по своему центральному содержанію, вовсе не представляетъ собою общественнаго протеста. Не въ этомъ смыслъ пьесы, не въ этомъ ея паѳосъ, не этимъ она вооружила противъ себя цензоровъ. Тамъ есть отдѣльныя риторическія филиппики противъ рабства, противъ помѣщицкѣй тираніи, но самая сильная изъ нихъ, слова Дмитрія: «Кто далъ это гибельное право — однимъ людямъ поработать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище — свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями, и со всѣмъ, что для него мило и драгоценно!»... эта горячая отвѣдь героя сопровождается и охлаждается слѣдующимъ примѣчаніемъ Бѣлинскаго: «Къ славѣ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства, подобныя тиранства уже начинаютъ совершенно истребляться. Оно поставляетъ для себя священнѣйшею обязанностью пещись о счастіи каждаго человѣка, ввѣреннаго его отеческому попеченію, не различая ни лицъ, ни состояній. Доказательствомъ сего могутъ служить всѣ его поступки и, между прочимъ, Указъ о наказаніи купчихи Аносовой за тиранское

обхожденіе съ своею дѣвкою и городничаго за допущеніе онаго, напечатанный въ 77-мъ № Московскихъ Вѣдомостей за 1830 годъ, 24 день сентября. Этотъ указъ долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ Россіянъ, умѣющихъ цѣнить мудрыя распоряженія своего правительства, напоминающія слова нашего знаменитаго, незабвеннаго Фонъ-Визина: «Гдѣ Государь мыслить, гдѣ знаетъ Онъ, въ чемъ его истинная слава—тамъ челоуѣчеству не могутъ не возвращаться права его; тамъ всѣ скоро ощутятъ, что каждый долженъ искать своего счастія и выгодъ въ томъ, что законно, и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ есть незаконно».

Не только знатокъ, но и богомолецъ Бѣлинскаго съ его «великимъ сердцемъ», С. А. Венгеровъ, по моему, совершенно правъ, когда говоритъ объ этомъ примѣчаніи, что «было бы величайшей ошибкой» думать, будто оно «есть лукавство и можетъ быть приравнено къ тѣмъ, мало кого вводившимъ въ заблужденіе, примѣчаніямъ», которыя въ 60-хъ годахъ дѣлали изъ цензурныхъ соображеній. Къ этому прибавляетъ г. Венгеровъ: «Бѣлинскій во всю свою жизнь не написалъ ни одного лукаваго слова и славословилъ только тогда, когда весь былъ переполненъ славословія». Въ 1831 г., утверждаетъ нашъ комментаторъ, Бѣлинскій былъ «безконечно «благонамѣренъ», ультра-«благонамѣренъ», и къ общему строю русскаго государственнаго уклада относился съ полнымъ одобреніемъ» (Сочиненія Бѣлинскаго, подъ ред. Венгерова, т. I, стр. 129).

Примѣчаніе Бѣлинскаго только подтверждаетъ, что центръ идейной тяжести въ «Дмитріи Калининѣ» находится вовсе не въ гражданскомъ протестѣ. Средоточіе пьесы—кровосмѣшеніе. Братъ становится любовникомъ сестры (невѣдомо для себя). Потомъ онъ убиваетъ своего брата (тоже не зная, кто его жертва). Потомъ онъ убиваетъ свою любовницу-сестру, по ея просьбѣ, чтобы ея не выдали замужъ за другого. Потомъ, наконецъ, онъ убиваетъ самого себя. Такъ не этотъ ли отталкивающий сюжетъ, не это ли ужасное кровосмѣшеніе и кровопролитіе заставили московскихъ профессоровъ

(тогдашнюю цензуру) признать сочиненіе мальчика-студента «безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ» (такими словами самъ Бѣлинскій формулируетъ отзывъ своихъ судей)? И неужели послѣднихъ не обезоружило бы примѣчаніе автора къ тирадѣ героя; неужели оно, на ряду съ другими штрихами, не показало бы имъ того, что въ послѣдствіи увидѣлъ историкъ литературы, т. е. что политически студентъ-трагикъ былъ «ультра-благонамѣренъ», «безконечно-благонамѣренъ»? И развѣ намъ извѣстно, чтобы они, эти профессора, были такими завзятыми и злобными крѣпостниками, что для нихъ невозможно было простить юношѣ того возмущенія тиранствомъ, которое, по его же искреннимъ словамъ, всецѣло раздѣляло само «мудрое и попечительное правительство»? Къ тому же, нападки противъ дикаго обращенія съ крѣпостными не могли звучать, хотя бы послѣ Фонвизина, возмутительной новостью и крамолой.

Бѣлинскій въ предисловіи къ своей пьесѣ ни однимъ словомъ не намекаетъ на ея общественный характеръ, и не слышится тамъ даже болѣе общій протестъ — противъ міровой несправедливости, противъ неба и религіи. Нѣтъ, онъ написалъ свое произведеніе «изъ чистаго, безкорыстнаго побужденія выразить этотъ внутренній міръ самого себя, этотъ міръ собственныхъ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ въ немъ созерцаніемъ этой чудесной, гармонической, безпредѣльной вселенной, въ которой онъ обитаетъ, назначеніемъ, судьбою чело-вѣка, сознаниемъ его нравственнаго величія».

Эпиграфомъ къ пьесѣ авторъ выбираетъ стихи Пушкина: «и всюду страсти роковыя, и отъ судебъ защиты нѣтъ», — и этимъ тоже отвѣтственность за несчастья героя опредѣленно перелагаетъ съ Россіи на судьбу и роковыя страсти.

Когда Дмитрій, исповѣдуясь своему другу Сурскому, рассказываетъ, что онъ овладѣлъ Софьей безъ вѣнчанія, такъ какъ не «согласіе родителей» и «пустые обряды», а «одна только природа соединяетъ людей узами любви», то Сурскій этимъ глубоко возмущается, признаетъ его поступокъ «гну-

нымъ», называетъ Калинина «обольстителемъ, нарушителемъ чести», считаетъ его «злодѣемъ, подлецомъ (хотя и неумышленнымъ)», убѣждаетъ его, что онъ долженъ былъ побороть свою страсть, отказаться отъ Софьи, идти въ военную службу, «въ коей или палъ бы на полѣ брани, какъ слѣдуетъ истинному сыну отечества, и вмѣстѣ съ горестною жизнію окончилъ бы и мученія свои, или бы отличился храбростью, покрылъ себя славою, приобрѣлъ чины, достоинства и титула, которые столько уважаются всѣми». «Кто тебѣ далъ право — вопрошаетъ Сурскій — назвать Софью своею женою безъ приличныхъ и необходимыхъ для сего обрядовъ»? И что же? Всѣ эти благонамѣренныя рѣчи очень скоро, въ продолженіе того же діалога, вполне убѣждаютъ Дмитрія; онъ отказывается отъ своего пренебреженія къ обрядамъ, отъ владѣвшаго имъ только что сознанія своей правоты (какъ это характерно для будущаго Бѣлинскаго!). «Торжествуй: ты правъ! ты правъ! Но для чего ты открываешь мнѣ глаза»... восклицаетъ нашъ герой съ открытыми глазами. Точно также, если въ пьесѣ прозвучитъ иногда какъ бы кощунственная нота («А Ты, Существо Всевышнее, скажи мнѣ: насытилось ли моими страданіями, натѣшилось ли моими муками?..»), то и герой въ испугѣ и ужасѣ перебиваетъ самого себя, свою дерзкую рѣчь, и тутъ же кается, и самъ авторъ немедленно принимаетъ свои мѣры и къ словамъ, похожимъ на хулу, дѣлаетъ примѣчаніе, искренне защищающее «чистыя струи религіи и нравственности».

Вообще, Бѣлинскій въ своей трагедіи, какъ и во всей своей дальнѣйшей литературной дѣятельности, каждому яду готовить противоядіе, каждой рѣчи — противорѣчіе, нейтрализуетъ самого себя и вырываетъ жало у своихъ отрицаній. Это съ его стороны совсѣмъ не умысль: это — его мышленіе.

Такимъ образомъ, невинное негодованіе Дмитрія противъ рабства и тираніи, его горячность, его послѣдній кликъ: «свободнымъ жилъ я, свободнымъ и умру» — все это ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть понято въ смыслѣ опредѣленнаго протеста, и если, на примѣръ, г. Бродскій (на 29-ой стр. своей

статьи-брошюры) находить несомнѣстимымъ исповѣданіе формулы: «православіе, самодержавіе и народность» съ содержаніемъ «Дмитрія Калинина», то это—простое недоразумѣніе, которое сейчасъ же разсѣется, если «Дмитрія Калинина» прочесть. Скорѣе тріединый символъ этой вѣры берется тамъ подъ защиту. Какъ произведеніе гражданственнаго характера, пьеса Бѣлинскаго, по меньшей мѣрѣ, безцвѣтна и безразлична; и показательны въ этомъ отношеніи слова Дмитрія, что Софья «въ одно и то же время трепетала при имени Брута, какъ великаго мученика свободы, какъ добродѣтельнаго самоубійцы, и при имени Сусанина, запечатлѣвшаго своею кровію вѣрность царю»; а Софья, въ свою очередь, говоритъ, что лицо Дмитрія пылало и глаза его сверкали, когда онъ читалъ о защитникахъ свободы и о Сусанинѣ, который «жертвовалъ за царя своею жизнью». Того, кто писалъ такія строки, профессорская цензура обвинить въ политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что въ пьесѣ юноши должны были цензоровъ смутить и возмутить совѣмъ другіе мотивы, именно—тѣ, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянномъ, правда, кровосмѣшеніи брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензора были правы.

Такъ вотъ—причины, по которымъ я при оцѣнкѣ общественности Бѣлинскаго счелъ возможнымъ не принимать въ рассчетъ «Дмитрія Калинина», гдѣ обѣ чаши гражданственныхъ вѣсовъ приведены въ равновѣсіе.

Да и гдѣ же, наконецъ, объективныя основанія, которыя позволяли бы утверждать, какъ это дѣлаютъ гг. Дерманъ и Ивановъ-Разумникъ, что Бѣлинскій былъ уволенъ изъ университета за свою пьесу, что онъ «поплатился» за нее? Вѣдь самъ Бѣлинскій пишетъ своимъ родителямъ, что хотя о «Дмитріи Калининѣ» «составили журналъ, но послѣ это дѣло уничтожено» и ректоръ сказалъ ему, бѣдному автору, что о немъ «ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія». *Дѣло уничтожено.* Въ письмѣ къ матери такъ о своемъ уволь-

неніи сообщаетъ нашъ юный трагикъ: «я не буду говорить вамъ о причинахъ моего выключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства». Впослѣдствіи, въ письмахъ къ разнымъ корреспондентамъ, Бѣлинскій то же ни разу, говоря о своемъ увольненіи, не ссылается на «Дмитрія Калинина», какъ на причину университетской катастрофы: «а я такъ и просто былъ выгнанъ изъ университета за лѣность и неупѣхи» (Бѣлинскій, Письма, 1914 г., I, стр. 87); «выгнанный изъ университета за лѣность студентъ» (Письма, I, стр. 345).

Инспекторъ и профессоръ Московскаго Университета Щепкинъ, котораго мы не имѣемъ права подозрѣвать въ недобросовѣстности, доносить помощнику попечителя, «представляетъ во вниманіе его превосходительства», что «Бѣлинскій, самъ чувствуя свое безсиліе для продолженія наукъ, просилъ, въ 1831 году, уволить его отъ университета и опредѣлить въ канцелярскіе служители», но что слѣдовало бы, не исполняя этой просьбы, совсѣмъ «уволить его отъ университета по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другія основанія, если бы онъ имѣлъ въ виду неблагонамѣренность Бѣлинскаго, проявленную имъ будто бы въ «Дмитріи Калининѣ», то изъ-за чего же инспекторъ объ этомъ умолчалъ бы и что же помѣшало бы ему въ официальной и, вѣроятно, конфиденціальной бумагѣ поддержать свое ходатайство объ увольненіи студента ссылкой на его политическую неблагонамѣренность, «представить о семъ во вниманіе его превосходительства»? Развѣ такого рода аргументы не являются для ихъ превосходительствъ самыми убѣдительными и рѣшающими?

Правда, А. Н. Пыпинъ свидѣтельствуетъ, что по всѣмъ отзывамъ, какіе ему приходилось читать и слышать, трагедія сыграла свою «положительную роль въ исключеніи Бѣлинскаго изъ университета».

Такимъ образомъ, самое большое, что можетъ иной пред-

положить, только предположить, это—что, по слухамъ, «Дмитрій Калининъ» извѣстную роль въ увольненіи Бѣлинскаго сыгралъ. Но какъ это далеко отъ категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мнѣ не представятъ фактовъ, что причина или что даже одна изъ причинъ увольненія Бѣлинскаго—«Дмитрій Калининъ», имѣю право въ это не вѣрить, и этимъ правомъ я пользуюсь.

Я такъ задержался на вопросѣ о «Дмитріи Калининѣ» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этомъ примѣрѣ показать, какъ неосновательно приписываютъ Бѣлинскому «самые «протестующіе» взгляды» (выраженіе г. Иванова-Разумника), какъ неточно рассказываютъ его біографію и какъ вообще создается то, что я назвалъ легендой о Бѣлинскомъ.

Въ подтвержденіе своего взгляда, что либерализмъ Бѣлинскаго, какъ и все его міровоззрѣніе, отличается большой неустойчивостью, я между прочимъ указалъ на ту его страницу (отзывъ о IV книгѣ «Сельскаго Чтенія»), гдѣ онъ, *послѣ* знаменитаго письма къ Гоголю, въ 1848 году, опять славить «благотворное» вліяніе «просвѣщеннаго» русскаго правительства и «въ отношеніи къ внутреннему развитію Россіи» считаетъ царствованіе своего государя «самымъ замѣчательнымъ послѣ царствованія Петра Великаго».

Г. Евг. Ляцкій фактически-невѣрно утверждаетъ, будто я свое мнѣніе о сочувственной поддержкѣ Бѣлинскимъ русскаго шовинизма и официальныхъ канонѣвъ обосновываю на этой «одной фразѣ», «придравшись» къ ней: здѣсь мой рецензентъ просто невнимательно прочиталъ меня; и оттого, поблагодаривъ г. Ляцкаго за выраженную имъ увѣренность, что я только «не разобрался» въ «эзоповскомъ» стилѣ Бѣлинскаго, а не допустилъ «завѣдомой подмѣны одного пониманія другимъ»,—поблагодаривъ его за этотъ великодушный отказъ отъ обвиненія меня въ подлогѣ, я въ данномъ пунктѣ спорить

съ нимъ не буду, а выясню намѣченный вопросъ по рецензіямъ гг. Ч. В—скаго и Бродскаго. Впрочемъ, и г. Бродскій не прибавляетъ ничего новаго сравнительно съ тѣмъ, что говоритъ объ этомъ г. В—скій, и оттого я позволю себѣ ограничиться отвѣтомъ только послѣднему.

А г. Ч. В—скій говоритъ, что моя ссылка на приведенныя слова Бѣлинскаго—«злостный попрекъ» и что, въ противность моему «ядовитому подчеркиванію», «никакого этического противорѣчія» между письмомъ къ Гоголю и отзывомъ о «Сельскомъ Читеніи» нѣтъ. По существу г. Ч. В—скій выясняетъ, что поразившія меня слова Бѣлинскаго получаютъ въ контекстѣ его статьи иной характеръ: они вызваны-де слухами о предстоящемъ освобожденіи крестьянъ, о знакахъ вниманія со стороны Николая I министру государственныхъ имуществъ гр. Киселеву, стороннику эмансипаціи, и написаны, повидимому, какъ и весь отзывъ, «лишь ради радостнаго намека» на ожидавшуюся реформу. А если бы не такъ, то, очевидно, г. Ч. В—скій согласился бы со мною въ оцѣнкѣ этихъ строкъ Бѣлинскаго: вѣдь мой оппонентъ и самъ замѣчаетъ, что «послѣ революціоннаго, если угодно, письма къ Гоголю» прославленіе въ печати самодержавія было бы непослѣдовательно: «подумаешь, дѣйствительно, какая отталкивающая неустойчивость!»

Г. Ч. В—скій защищаетъ Бѣлинскаго отъ того, въ чемъ я даже его не обвинялъ, и потому бьетъ мимо цѣли. Я ни словомъ, ни намекомъ, ни попрекомъ не указывалъ на *этическое* противорѣчіе между письмомъ къ Гоголю и рецензіей на «Сельское Читеніе»; къ яду, ироніи, злости и прочимъ страстямъ вовсе я и не долженъ былъ прибѣгать для выраженія той простой и прямой мысли, какую я высказалъ. А высказалъ я то, что Бѣлинскій свои прежніе охранительные мотивы смѣнилъ затѣмъ, особенно въ письмѣ къ Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни въ какомъ случаѣ нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаромъ уже послѣ этой лирики

онъ опять славиль «благотворное» вліяніе «просвѣщеннаго» русскаго правительства и т. д. Какъ я думалъ и думаю, что Бѣлинскій вообще ненадеженъ, такъ, на почвѣ моего общаго изученія и пониманія его дѣятельности, я и по этому поводу выразился въ томъ же духѣ—именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и въ одно изъ подтвержденій своей мысли привелъ упомянутую цитату. Если революціонеръ убѣжденно обращается въ монархиста, то ничего *этически* дурнаго я въ такомъ обращеніи не вижу, и въ этомъ не сталь бы упрекать Бѣлинскаго. Мнѣ нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость. И вотъ *она* опровергается ли соображеніями г. В—скаго?

Я понимаю, отчего послѣдній зальцбруннское письмо къ Гоголю называетъ «революціоннымъ, *если угодно*». Оно, дѣйствительно, не совсѣмъ революціонно. На ряду съ такими тирадами, которыя этого опредѣленія вполне заслуживаютъ, тамъ, согласно обычной невыдержанности и черезполосности Бѣлинскаго, есть мѣста, удивляющія своей неприятной умѣренностью. Такъ, *ria desideria* нашего критика-публициста, это, между прочимъ,—дважды высказанное пожеланіе, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Такъ, перечисляя «самые живые, современные вопросы въ Россіи», Бѣлинскій называетъ среди нихъ «*ослабленіе* тѣлеснаго наказанія». Согласитесь, что это далеко отъ максимализма... *)

*) Правда, у Венгерова и Ляцкаго читается «*отмѣненіе* тѣлеснаго наказанія». Г. Ляцкій въ примѣчаніи къ III-му тому «Писемъ» Бѣлинскаго (стр. 377) говоритъ, что здѣсь существуютъ разночтенія: *ослабленіе, уничтоженіе* и *отмѣненіе* и что «установить подлинный текстъ пока не представляется еще возможнымъ». Г. же Венгеровъ въ книгѣ о Гоголѣ разубааетъ Гордіевъ узелъ риторическимъ вопросомъ: «вѣроятно ли, чтобы Бѣлинскій требовалъ только «ослабленія», а не «отмѣненія тѣлеснаго наказанія?» На этомъ прочномъ основаніи С. А. Венгеровъ ставитъ «отмѣненіе», хотя въ копіи Краевскаго, особенную достовѣрность которой признаетъ самъ С. А., мы читаемъ: «ослабленіе». Я же считаю вполне убѣдительными тѣ соображенія, которыя по этому поводу высказываетъ г. П. И. Вишневскій въ своей упомянутой выше

Въ общемъ, тѣмъ не менѣе, письмо къ Гоголю революціонно,—пользуюсь разрѣшеніемъ г. Ч. В—скаго: мнѣ это угодно признать. Но именно потому свидѣтельствомъ неустойчивости Бѣлинскаго я и считаю отзывъ о «Сельскомъ Читеніи». Слухи объ освобожденіи крестьянъ, учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ, вниманіе, оказанное Государемъ Киселеву (объ этомъ такъ пишетъ Бѣлинскій въ томъ письмѣ къ Анненкову, на которое ссылается г. В—скій: «Недавно Государь Императоръ былъ въ Александринскомъ театрѣ съ Киселевымъ и оттуда взялъ его съ собою къ себѣ пить чай: фактъ, прямо относящійся къ освобожденію крестьянъ»):—все это, я согласенъ, могло повліять на Бѣлинскаго, но это не могло бы поколебать его, если бы онъ дѣйствительно былъ убѣжденнымъ революціонеромъ или радикаломъ. Находить въ 1848 г. Николая I однимъ изъ «достойныхъ потомковъ великаго предка», «Моисея», т. е. Петра Великаго; утверждать, что «съ тѣхъ поръ до сей минуты» Россія шла по мирному пути цивилизаціи; говорить вообще такимъ тономъ,—неужели все это (даже принимая во вниманіе, съ одной стороны, цензуру, а съ другой—слухи объ эмансипаціи) является вну-

книжкѣ «Н. В. Гоголь и В. Г. Бѣлинскій». Тамъ, на стр. 114, онъ отмѣчаетъ, что не только въ копіи Краевскаго, хранящейся въ Императорской Публичной Библиотекѣ, но и въ самой ранней редакціи письма, какъ оно напечатано въ «Полярной Звѣздѣ» Герцена, который непосредственно отъ Бѣлинскаго выслушалъ черновикъ зальцбрунскаго посланія,—значится «ослабленіе» «Уничтоженіемъ» или «отмѣненіемъ» впервые замѣнилъ это непріятное слово Пыпинъ (въ 1876 г.), и получилъ, какъ справедливо указываетъ г. Вишневскій, «нѣчто не совсѣмъ складное»: если бы Бѣлинскій имѣлъ въ виду «уничтоженіе» тѣлеснаго наказанія, то вмѣсто повторенія одного и того же слова онъ просто между словами «уничтоженіе крѣпостнаго права» и словами «тѣлеснаго наказанія» поставилъ бы и; или онъ употребилъ бы «болѣе выразительное» и болѣе употребительное, чѣмъ «отмѣненіе», слово «отмѣна». «Употребивъ выраженіе «ослабленіе», Бѣлинскій сказалъ то, что сказалъ».

Не совершена ли здѣсь въ самомъ дѣлѣ нѣкая *ria fraus*?

треннимъ и органическимъ продолженіемъ письма къ Гоголю? Не исчезло ли куда-то революціонное отношеніе къ русскому самодержавію, и не осталась ли зато неизмѣнной поражающая измѣнчивость Бѣлинскаго?..

Для меня въ этомъ смыслѣ очень показателенъ и тотъ фактъ, что тоже *послѣ* письма къ Гоголю, уже нѣсколько мѣсяцевъ спустя, Бѣлинскій въ названномъ выше письмѣ къ Анненкову выражается такъ: «Вѣра дѣлаетъ чудеса—творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можетъ и изъ Шевченки сдѣлать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкѣ долженъ видѣть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горѣлки по патриотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикаль написалъ два пасквиля, одинъ на Государя Императора, другой на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохоталъ, и, вѣроятно, дѣло тѣмъ и кончилось бы, и дуракъ не пострадалъ бы за то только, что онъ глупъ. Но когда Государь прочелъ пасквиль на Императрицу, то пришелъ въ великій гнѣвъ. И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоитъ славянское остроуміе, когда оно устремляется на женщину... Шевченку послали на Кавказъ солдатомъ. Мнѣ не жаль его: будь я его судьей, я сдѣлалъ бы не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. Это—враги всякаго успѣха. Своими дерзкими глупостями они раздражаютъ правительство, дѣлаютъ его подозрительнымъ, готовымъ видѣть бунтъ тамъ, гдѣ ровно ничего нѣтъ, и вызываютъ мѣры крутыя и гибельныя для литературы и просвѣщенія... Вотъ что дѣлаютъ эти скоты, безмозглые либералишки. Охъ, эти мнѣ хохлы! Вѣдь бараны—а либеральничаютъ во имя галушекъ и варениковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя—все мараютъ. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволить печатно проповѣдовать отторженіе отъ него области?» (Письма, III, 318-320).

Я лично вполне соглашаюсь со взглядомъ Бѣлинскаго на

пасквили и съ тѣмъ, что иные либералы мѣшаютъ либерализму *); но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что между письмомъ къ Гоголю и письмомъ къ Анненкову—очень большая разница, и она тоже позволяетъ мнѣ «страстную лирику трибуна», которую я услышалъ въ первомъ письмѣ, не считать со стороны Бѣлинскаго окончательной и надежной.

По вѣрному слову П. Н. Сакулина, я признаю Бѣлинскаго «либераломъ весьма сомнительнаго свойства». Но это мое мнѣніе всѣ критики отвергаютъ. Особенно—Н. Л. Бродскій. Казалось бы, ни въ чемъ такъ не постоянно знаменитый критикъ, ни въ чемъ онъ такъ не вѣренъ самому себѣ (насколько вообще можно говорить о постоянствѣ Бѣлинскаго), какъ въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ: единая яркая нить консерватизма проходитъ и черезъ то, что онъ писалъ въ 1831 г., и черезъ то, что онъ писалъ въ 1834 г., и черезъ то, что онъ писалъ въ 1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годахъ. Но все это не убѣждаетъ Н. Л. Бродскаго, и онъ не считаетъ Бѣлинскаго въ общественномъ смыслѣ консервативнымъ. Въ частности, по поводу «Литературныхъ мечтаній» г. Бродскій замѣчаетъ, что я «напрасно киваю» на ихъ послѣднюю страницу (ту, которая звучитъ сплошнымъ панегирикомъ и «царю-отцу», и «чадолюбивымъ монархамъ», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству», и «знаменитымъ сановникамъ», «являющимся посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію, въ духѣ «православія, самодержавія и народности»): «еще С. А. Венгеровъ высказалъ догадку, что къ ней приложилъ руку редакторъ Надеждинъ».

Во-первыхъ, я на эту страницу, которую оба комментатора хотѣли бы вырвать изъ собственной книги Бѣлинскаго, не «киваю», а безъ лукавства, прямо и опредѣленно ее назы-

*) Еще и такую характеристику либераламъ даетъ Бѣлинскій: „всѣ наши либералы—ужасные подлецы: они не умѣютъ быть подданными, они холопы: за угломъ любятъ побранить правительство, а въ лицо подличаютъ не по нуждѣ, а по собственной охотѣ“ (Письма, II, 44).

ваю и цитирую; во-вторыхъ, догадка г. Венгерова, къ которой присоединяется и г. Бродскій, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросомъ о томъ, какъ подобная страница попала къ Бѣлинскому, было бы умѣстно лишь въ томъ случаѣ, если бы въ текстѣ его сочиненій и писемъ она была инороднымъ тѣломъ, если бы она противорѣчила другимъ его изъясненіямъ. Но вѣдь мы знаемъ, что и послѣ, и раньше (въ «Дмитріи Калининѣ») Бѣлинскій писалъ то же самое, высказывался въ томъ же духѣ. Напримѣръ, въ письмѣ 1837 г. изъ Пятигорска къ Д. П. Иванову (письмѣ, которое я отчасти цитировалъ и въ своемъ силуэтѣ) совершенно же опредѣленно славить Бѣлинскій русское правительство и поучаетъ своего адресата, что «политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла и ею могутъ заниматься только пустыя головы»; что «Россія—еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію—значитъ погубить Россію»; что «не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ, пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ»; что у насъ «все идетъ къ лучшему» и причиною этому «установленіе общественнаго мнѣнія.. и, можетъ быть, еще болѣе того самодержавная власть», которая «даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла»; что блюсти цензуру и не допускать перевода нѣкоторыхъ иностранныхъ книгъ,—«это хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ»; что если «правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что производитъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ», то «эта мѣра превосходна и похвальна» (Письма, I, 91—94).

Что же, или и это письмо Бѣлинскаго писалъ не Бѣлинскій, а кто-нибудь другой? Не построятъ ли наши ученые какой-либо «догадки» въ этомъ направленіи? Хорошо бы только обосновать ее во всякомъ случаѣ не такъ, какъ это дѣлаетъ г. Бродскій: предположеніе о принадлежности конца «Литературныхъ мечтаній» не Бѣлинскому, а Надеждину, онъ находитъ «вполнѣ возможнымъ» потому, что въ это время кружокъ Станкевича, гдѣ вращался авторъ «Литературныхъ мечтаній» «отрицательно относился къ квасному патріотизму» и, значитъ, если Бѣлинскій, былъ «рупоромъ кружка», онъ не могъ быть «рапсодомъ формулы: «православіе, самодержавіе, народность»... Эта аргументація была бы неотразимо-блестящей, но горе въ томъ, что вѣдь это я, только я, считаю Бѣлинскаго «рупоромъ кружка», а не г. Бродскій! Вѣдь послѣдній, наоборотъ, пламенно выступалъ противъ этихъ словъ моихъ и всѣми силами защищалъ самостоятельность нашего критика. А теперь, забывъ про это, онъ утверждаетъ, что извѣстныхъ мыслей у Бѣлинскаго не могло быть, такъ какъ-де ихъ не мыслить кружокъ Бѣлинскаго! Изъ кружка въ порочный кругъ безвыходно попалъ здѣсь Н. Л. Бродскій. И къ этому его привело желаніе во что бы то ни стало признать Бѣлинскаго либераломъ, т. е. прочесть то, чего послѣдній не писалъ, и не читать того, что онъ написалъ всѣми буквами, явственно и несомнительно.

По своему обыкновенію, г. Бродскій для большей вѣрности опирается и на авторитеты, подтверждающіе либеральность Бѣлинскаго: онъ называетъ Герцена, Некрасова, Салтыкова—и, въ другой плоскости, даже коменданта Петропавловской крѣпости и Дубельта, которые недаромъ же поджидали Бѣлинскаго въ «тепленькій казематъ» и жалѣли, что смерть освободила его отъ тюрьмы.

Мое упорное нежеланіе считаться съ авторитетами остается въ силѣ. Къ тому же, коменданта Скобелева и Дубельта я даже не признаю въ данномъ вопросѣ компетентными: я думаю, что III Отдѣленіе не всегда было право, что Дубельтъ

иногда ошибался, что у русскаго правительства, какъ у страха, были глаза велики. И неужто въ самомъ дѣлѣ статьи Бѣлинскаго, даже если стоять на официальной точкѣ зрѣнія, справедливо «считались опасными, вредными»? Развѣ это не было однимъ изъ обычныхъ недоразумѣній нашего строя? О письмѣ къ Гоголю я не говорю,—но вѣдь и въ своемъ силуэтѣ я призналъ его, на ряду съ нѣкоторыми другими письмами, исключеніемъ изъ общаго политическаго правила у Бѣлинскаго.

Одинъ изъ наиболѣе частыхъ укоровъ, предъявляемыхъ ко мнѣ обычно, а за силуэтъ Бѣлинскаго въ особенности, это—то, что я лишень чувства исторической перспективы; какъ мило шутить П. Н. Сакулинъ, на моемъ рабочемъ столѣ въ граненомъ хрустальномъ флаконѣ стоитъ какой-то «реактивъ на вѣчность». Вообще, о моемъ эстетизмѣ много говорятъ мои оппоненты, попрекаютъ меня имъ и о методѣ имманентной критики, который я защищаю и который беретъ у писателя то, что писатель даетъ, они отзываются съ убійственной насмѣшкой. Я не буду здѣсь касаться этихъ обвиненій въ ихъ общей формѣ (тѣмъ болѣе что конкретно ни одинъ изъ моихъ рецензентовъ ни въ одной ошибкѣ противъ историчности меня не уличилъ), а разсмотрю этотъ пунктъ только въ примѣненіи къ моему характеристикѣ Бѣлинскаго. И такъ какъ упрекъ въ анти-историзмѣ преимущественно выдвигаетъ противъ меня критикъ *Русскаго Богатства* г. А. Дерманъ, то я по данному вопросу остановлюсь главнымъ образомъ на его статьѣ. Но чтобы уже не возвращаться къ г. Дерману, я по дорогѣ сдѣлаю попытку опрокинуть и другія его сооруженія, воздвигнутыя противъ меня.

Первое впечатлѣніе, какое онъ вынесъ отъ моего очерка, это—«отсутствіе скромности». Моя фраза: «то представленіе, какое получаешь о Бѣлинскомъ изъ чужихъ прославляющихъ устъ, въ значительной степени рушится, когда под-

ходишь къ его книгамъ непосредственно»,—эта фраза истолковывается моимъ рецензентомъ такъ, что, по моему-де, либо никто до меня не подходилъ къ книгамъ Бѣлинскаго, либо, «подойдя къ нимъ и разрушивъ легенду въ сердцѣ своемъ, не нашелъ въ себѣ мужества открыто объ этомъ заявить».

Упрекомъ въ нескромности жестокой г. Дерманъ ставитъ меня въ очень щекотливое положеніе: вѣдь если я, въ отвѣтъ ему, стану доказывать свою скромность, я тѣмъ самымъ ее потеряю, не правда ли?.. Но дѣлать нечего. Я долженъ напомнить г. Дерману, что есть *pluralis majestatis* и есть *pluralis modestiae*. То множественное число, которое заключается въ моихъ обобщающихъ безличныхъ выраженіяхъ «получаешь» и «подходишь», это, конечно,—*pluralis* второй категоріи. По существу я говорю о себѣ, только о себѣ, о своемъ субъективномъ впечатлѣніи; но чтобы свою личность не выдвигать, я и употребилъ форму безличную. Миѣ именно казалось, что такъ будетъ скромнѣе,—а вотъ подите жъ!. Своей шапкой-невидимкой я не боялся ввести кого-либо изъ свѣдущихъ людей въ заблужденіе, потому что однажды навсегда заявилъ о субъективности своихъ силуэтовъ и въ предисловіи къ нимъ постарался даже ее принципиально обосновать. Этотъ мой субъективизмъ, этотъ мой импрессионизмъ какъ разъ и служатъ основной мишенью для нападокъ на меня со стороны моихъ критиковъ; какъ разъ потому они и находятъ мои взгляды необязательными (съ чѣмъ согласенъ и я). А вообще имѣть свои взгляды, въ частности—на Бѣлинскаго, этого, я понимаю, не признаетъ нескромностью и г. Дерманъ. Иначе идеаломъ скромности надо было бы считать Молчалина, который думалъ, что ему не должно смѣть свое сужденіе имѣть.

Въ скобкахъ замѣчу, что не только г. Дерманъ, но и г. Ивановъ-Разумникъ забылъ о субъективномъ характерѣ моихъ характеристикъ. Въ самомъ дѣлѣ: отбрасывая не только мою оцѣнку Бѣлинскаго, но и въ связи съ нею мой методъ вообще, г. Ивановъ-Разумникъ именуешь послѣдній «историко-

литературнымъ», утверждаетъ, что самъ я «въ особой статьѣ познакомилъ читателей съ этимъ своимъ «методомъ», и выясняетъ, «въ чемъ слабость «историко-литературнаго метода» г. Ю. Айхенвальда».

Для меня—загадка, почему слова «историко-литературный» г. Ивановъ, будто цитируя, упорно замыкаетъ въ кавычки и почему онъ ссылается на мою «особую статью», гдѣ я знакомяю якобы съ «этимъ своимъ «методомъ». Развѣ я въ этой статьѣ, которую читалъ же, конечно, г. Ивановъ-Разумникъ, коль скоро онъ на нее опирается,—развѣ я тамъ или гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ называю и признаю свой методъ «историко-литературнымъ»? Развѣ въ этой статьѣ, наоборотъ, я своего метода не отмежевываю отъ историко-литературнаго? Развѣ суть и ересь ея не заключается именно въ томъ, что я историко-литературный методъ отвергаю? Какое же право имѣетъ г. Ивановъ на кавычки? Или это—иронія? Тогда надъ кѣмъ, надъ чѣмъ? Иронизировать надъ «историко-литературностью» моего метода, очевидно, можно было бы лишь въ томъ случаѣ, если бы я или кто-нибудь другой считалъ и называлъ его историко-литературнымъ. И когда г. Ивановъ-Разумникъ провозглашаетъ, что «критическая манера не есть историко-литературный методъ», то вѣдь этимъ онъ меня не уничтожаетъ, а меня, мою же главную мысль, альтруистически поддерживаетъ. Зачѣмъ же онъ съ такими усиліями ломится въ ту дверь, которую я самъ широко раскрылъ? Это съ его стороны незаконно и знаменуетъ полную побѣду не надо мною, а надъ здравымъ смысломъ.

Итакъ, г. А. Дерманъ осуждаетъ меня за несоблюденіе исторической перспективы. Мои указанія на то, что Бѣлинскій не понялъ Баратынскаго, не дооцѣнилъ Пушкина, не принялъ Татьяны, г. Дерманъ признаетъ «чудовищнымъ непониманіемъ сущности критики»; онъ видитъ въ нихъ требованіе съ моей стороны, чтобы «Бѣлинскій зналъ не меньше того, что теперь извѣстно» миѣ. И эти «упреки» мои «рав-

носились тому, какъ если бы нынче гимназистъ VI класса принялся укорять Аристотеля:—какъ же это вы, милостивый государь, позволили себѣ утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-съ! Давленіе воздуха, а «не боится пустоты»!

Простимъ тонъ этой пошлой буфонады, развязность этого «милостиваго государя», и вникнемъ въ дѣло по существу. Если бы мои ожиданія отъ Бѣлинскаго взаправду были «равносильны» требованію, чтобы Аристотель обладалъ научными знаніями XX столѣтія, то это свидѣтельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Вѣдь только глупецъ оспариваетъ глупца. Къ счастью для насъ съ г. Дерманомъ, положеніе вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю съ Бѣлинскаго не фактическихъ знаній, а вкуса и оцѣнки. И, затѣмъ, я ихъ спрашиваю именно въ предѣлахъ его эпохи, по мѣрѣ исторической возможности. Развѣ, дѣйствительно, въ то время, когда жили Пушкинъ и Баратынскій, исторически невозможно было ихъ понять и оцѣнить? Развѣ не было тогда людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынскаго, и многое другое, чего не принялъ Бѣлинскій? Я даже не думаю, что для этого надо было быть великимъ человекомъ; но ужъ во всякомъ случаѣ тѣ, которые считаютъ Бѣлинскаго великимъ критикомъ, геніальнымъ критикомъ, которые безвкусно называютъ его «великій критикъ земли русской»,—ужъ они-то навѣрное не имѣютъ права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: вѣдь тѣмъ-то великій и великъ, что онъ больше своихъ современниковъ. Если Бѣлинскій—только сынъ своей эпохи, рядовой представитель ея, страдающій ея естественной близорукостью, то за что же его такъ увѣнчивать? Недаромъ его панегиристы, противорѣча строгости своего же историзма, часто указываютъ, что Бѣлинскій стоялъ именно впереди своего времени. Такъ, самъ г. Дерманъ, защищающій Бѣлинскаго и Аристотеля отъ антиисторическихъ нападокъ моихъ и родственнаго мнѣ по уму гимназиста VI класса, восторженно отмѣчаетъ «по истинѣ

пророческую гениальность въ такомъ чудѣ критическаго прозрѣнія Бѣлинскаго, какъ предсказаніе славы Достоевскому по его первой повѣсти», чуждой въ своемъ стилѣ господствовавшимъ формамъ. Что же, можно, значить, пророчески упреждать исторію, гениальной мыслью преодолевать ея рамки, совершать «чудеса критическаго прозрѣнія»?

Правда, выбранная г. Дерманомъ иллюстрація къ этому тезису крайне неудачна и говоритъ не за Бѣлинскаго, а противъ него. Во-первыхъ, г. Дерманъ, разъ ужъ онъ принялъ любезное участіе въ специальномъ спорѣ, долженъ бы знать (или помнить), что Достоевскаго открыли Григоровичъ и Некрасовъ, а не Бѣлинскій: это они, очарованные повѣстью юнаго автора, въ памятную русской литературѣ бѣлую майскую ночь, прибѣжали къ Достоевскому со словами восторга; это Некрасовъ принесъ Бѣлинскому рукопись «Бѣдныхъ людей» и «закричалъ»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критикъ «строго» отвѣтилъ: «у васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ», и лишь послѣ этого, прочитавъ рукопись, онъ и самъ пришелъ въ волненіе и восхищеніе. Во-вторыхъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), что *въ печати* Бѣлинскій далъ о «Бѣдныхъ людяхъ» довольно умѣренный отзывъ, совсѣмъ не такой, какъ въ устной бесѣдѣ съ Достоевскимъ. Въ-третьихъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), что Бѣлинскій со свойственной ему шаткостью отъ своей высокой оцѣнки Достоевскаго скоро отказался, въ ней раскаялся и за нее назвалъ себя «осломъ»; вотъ что писалъ онъ Анненкову: «Онъ (Достоевскій) и еще кое-что написалъ послѣ того, каждое его произведеніе—новое паденіе. Въ провинціи его терпѣть не могутъ, въ столицѣ отзываются враждебно даже о «Бѣдныхъ людяхъ». Я трепещу при мысли перечитать ихъ, такъ легко читаются они! Надулись же вы, другъ мой, съ Достоевскимъ-гениемъ! О Тургеневѣ не говорю—онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнѣ, старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать. Я, первый критикъ, разыгралъ тутъ осла въ квадратѣ» (Письма,

III, 338). Это—его послѣднее слово о Достоевскомъ (какъ и все это письмо, къ несчастью,—одно изъ послѣднихъ предсмертныхъ словъ Бѣлинскаго). Гдѣ же здѣсь геніальность, гдѣ же пророчество, гдѣ критическое чудо?

Въ своей работѣ я, по г. Дерману, «натворилъ нѣчто невообразимое»; грѣхъ противъ элементарнаго историзма, даже «комическую наивность» онъ усматриваетъ, напримѣръ, въ такихъ строкахъ моей статьи: «если Бѣлинскій—энтузіастъ, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него такъ много риторики и гуслирнаго звона, и раскрашеннаго стиля?.. почему свою увлеченность онъ выражаетъ не въ задушевной и дорогой простотѣ, почему о любимомъ онъ говоритъ не естественно?» На всѣ эти вопросы мои г. Дерману просто «совѣстно отвѣчать», такъ какъ, если бы свою совѣстливость онъ преодолѣлъ, то отвѣты заключались бы въ «азбучно-элементарныхъ указаніяхъ на то, что риторическое для нашихъ дней было абсолютно адекватно энтузіазму Бѣлинскаго 75 лѣтъ назадъ», что «тогда не было и быть не могло «дорогой простоты» стиля Чехова», что Бѣлинскій не могъ же писать «языкомъ Бориса Зайцева».

Вы видите, историзмъ отплатилъ своему безкорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерманъ не долго думая (именно потому, что не долго думая) впадаетъ въ такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смѣшна. Справедливо полагая, что Бѣлинскій не могъ дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензентъ забываетъ только... о Пушкинѣ. Я, обвиняемый въ анти-историзмѣ, знаю однако исторію, помню хронологію и отдаю себѣ ясный отчетъ въ томъ, что во времена Бѣлинскаго и до него былъ уже Пушкинъ, который свою прозрачную прозу, свои рассказы и критическія статьи запечатлѣлъ хрустальной простотой, выражалъ свой энтузіазмъ, африканскую огненность своей натуры, безъ риторики и надъ всякой риторикой отъ души смѣялся; я, осуждаемый за пренебреженіе къ исторической перспективѣ, не упускаю изъ виду, что естественно-

му стилю Бѣлинскій могъ учиться не только у Пушкина, но даже у нѣкоторыхъ своихъ предшественниковъ,—напримѣръ, у Кирѣевскаго, очень далекаго отъ напыщенности «Литературныхъ мечтаній»,—я, словомъ, все это и многое другое учитываю, а защитникъ перспективы, другъ исторіи, этимъ пренебрегаетъ и, какъ цитированный имъ гимназистъ VI класса, въ своемъ упрощенномъ пониманіи историзма констатируетъ лишь то несомнѣнное, что современниками Бѣлинскаго не были Чеховъ и Зайцевъ.

Не было бы грѣха и въ томъ, если бы г. Дерманъ зналъ (или помнилъ), что въ риторизмѣ обвинялъ Бѣлинскаго самъ Бѣлинскій, что, по его собственному признанію, риторикой возмѣщаль онъ недостававшій ему пафосъ; вотъ что пишетъ онъ Боткину: «Миѣ нужно то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаешь ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь? А этого-то и нѣтъ,—и вотъ почему у меня много риторики (что ты весьма справедливо замѣтилъ и что я давно уже и самъ созналъ). Когда ты наткнешься въ моей статьѣ на риторическія мѣста, то возьми карандашъ и подпиши: здѣсь бы долженъ быть пафосъ, но, по бѣдности въ ономъ автора, о, читатель! будь доволенъ и риторической водою» (Письма, II, 215).

Приведя мои слова: «понятіе о вѣчности литературы было Бѣлинскому вообще чуждо, и онъ думалъ, что на всѣ книги, направленія, стили есть только временный спросъ и временный къ нимъ интересъ»,—г. Дерманъ замѣчаетъ, что если изъ этой тирады устранить «вульгаризмъ («временный спросъ»), принадлежащій не Бѣлинскому», то въ такомъ исповѣданіи послѣдняго окажется «величайшая правда и заслуга», а неправда и вина будетъ какъ разъ на моей сторонѣ, такъ какъ-де для Бѣлинскаго «именно изъ понятія вѣчности литературы вытекало понятіе о временности и смертности *стиля*», я же (а не Бѣлинскій) этому понятію совершенно чуждъ, коль скоро я полагаю, будто «существуетъ какой-то вѣчный

стиль». «А онъ (т. е. я, Ю. А.), къ сожалѣнію это полагаетъ».

Я радъ, что могу освободить г. Дермана отъ его сожалѣнія, этого тягостнаго чувства. Хотя разбираемую статью свою онъ озаглавилъ «Айхенвальдь о Бѣлинскомъ», но въ началѣ ея посвящаетъ нѣсколько строкъ всей моей книгѣ вообще и высказываетъ мнѣніе, что изъ входящихъ въ нее новыхъ характеристикъ «наиболѣе удачной» является посвященная Бальмонту. Значить, мои новые очерки г. Дерманъ сравнивалъ другъ съ другомъ; а если онъ ихъ сравнивалъ, значить, онъ ихъ читалъ всѣ; а если онъ ихъ читалъ, то, значить, въ моемъ очеркѣ о Карамзинѣ онъ прочелъ слѣдующія строки: «исчезаютъ литературные стили, но если была въ нихъ душа, то она остается, и сквозь старое, старомодное можно видѣть ея живой и бессмертный обликъ».

Ясно, кажется, что г. Дерманъ исцѣленъ отъ своего сожалѣнія. Ясно, что не только я не полагаю, будто существуетъ какой-то вѣчный стиль, но и, наоборотъ, вѣчность литературы (души) противопоставляю временности отдѣльныхъ стилей, т. е. дѣлаю то, что г. Дерманъ признаетъ «величайшей правдой и заслугой». Бѣлинскій же вѣчнаго сквозь временное, литературы сквозь стиль, души сквозь моду не чуялъ, — и въ этомъ я его упрекаю. Онъ, повторяю, думалъ, что на всѣ направленія, книги, стили есть *только* временный спросъ и *только* временный къ нимъ интересъ. А что «вульгаризмъ» временнаго спроса принадлежитъ не мнѣ и что г. Дерманъ не имѣетъ права отнимать его у Бѣлинскаго, это можно видѣть даже изъ всей его оцѣнки Пушкина и изъ многихъ рецензій; въ качествѣ примѣра укажу хотя бы на слѣдующее: въ 1835 г. Бѣлинскій объ «Аббадонѣ» Полевого даетъ положительный отзывъ, а въ 1841 г. о немъ же — отзывъ отрицательный, и мотивируетъ это тѣмъ, что данное произведеніе не можетъ интересовать публику такъ, какъ прежде: «пять лѣтъ въ русской литературѣ, — да это все равно, что пятьдесятъ въ жизни иного человѣка!... И потому должно ли удивляться, что та же самая

публика, которая очень радушно приняла «Аббадону» въ 1835 году, теперь велить ей говорить «дома нѣтъ»? (Сочиненія Бѣлинскаго, редакція Венгерова, т. II, 74; т. VI, 153).

Пять лѣтъ—это ли не «временный спросъ»?

Въ связи съ этимъ находится тяжкое обвиненіе г. Дермана, что я, «съ какой-то этической безпечностью, не гнушаюсь чтеніемъ въ сердцахъ» и оттого «происхожденіе теоретическаго сужденія» Бѣлинскаго приписываю его боязни «оказаться не передовымъ, не просвѣщеннымъ».

Всѣ читавшіе Бѣлинскаго знаютъ, какъ часто онъ ссылается на «наше время», какое огромное значеніе приписываетъ эпохѣ, «духу времени», какъ важно въ его глазахъ, чтобы каждый писатель отвѣчалъ требованіямъ современности, былъ передовымъ и просвѣщеннымъ. Это и дало мнѣ право утверждать, что и самъ Бѣлинскій боялся оказаться не въ числѣ передовыхъ и просвѣщенныхъ, вслѣдствіе чего и отъ искусства требовалъ онъ служенія вопросамъ эпохи. Это я прочелъ не въ сердцѣ Бѣлинскаго, а въ его книгахъ; это мнѣ раскрыла не «этическая безпечность», а критическая внимательность. Наконецъ, чтеніе въ сердцахъ предосудительно тогда, когда оно уличаетъ человѣка въ чемъ-нибудь дурномъ; а въ томъ, что Бѣлинскій боялся не оказаться просвѣщеннымъ, нѣтъ ничего морально-дурного,—развѣ лишь умственная робость. И я продолжаю утверждать, что Бѣлинскій слишкомъ прислушивался къ времени, и это только—иллюзія, будто онъ шелъ впереди его.

Легкомысленно забывъ Пушкина тамъ, гдѣ необходимо было его помнить, г. Дерманъ вспоминаетъ о немъ тамъ, гдѣ его можно было бы и забыть. Именно: я указываю, что изъ отношеній Николая I къ Пушкину Бѣлинскій умиленно отмѣчаетъ лишь вниманіе царя къ умиравшему поэту; далѣе, я говорю, что нашъ критикъ сочувственно поддерживалъ русскій шовинизмъ и официальные каноны,—г. Дерманъ на все это возражаетъ, что и самъ Пушкинъ то же самое запомнилъ изъ отношеній къ нему государя (слова на смертномъ одрѣ: «весь

былъ бы его») и что Пушкина съ его «Клеветниками Россіи» я, будучи послѣдовательнымъ, тоже долженъ былъ бы обвинить въ шовинизмѣ.

Какъ-то скучно отвѣчать рецензенту, что мой силуэтъ посвященъ не Пушкину, а Бѣлинскому, что о Пушкинѣ—разговоръ особый. Но если ужъ этотъ посторонній разговоръ г. Дерманъ поднимаетъ, то въ видѣ единственной реплики я мелькомъ скажу, что къ поэту и къ публицисту предъявляются требованія разныя; что, въ противоположность Бѣлинскому, Пушкина политическимъ либераломъ вовсе и не считаютъ; что Пушкинъ, умирая, не могъ не испытать горячей благодарности къ государю за его обѣщаніе позаботиться о женѣ и дѣтяхъ (слишкомъ скоро—вдовѣ и сиротахъ), а Бѣлинскій, живя, могъ бы помнить и о другомъ вниманіи царя къ поэту, долженъ бы знать, какія препятствія на литературной и жизненной дорогѣ замученнаго Пушкина ставили монархъ и его правительство.

Для того чтобы исчерпать фактическое содержаніе рецензій г. Дермана, я остановлюсь еще на вопросѣ о Гончаровѣ; кстати отвѣчу и г. Бродскому, который тоже касается этого пункта.

Какъ одну изъ ошибокъ Бѣлинскаго, я называю то, что онъ пустилъ въ нашъ литературный сборотъ противоположное истинѣ утвержденіе, будто Гончаровъ—писатель объективный. На это г. Дерманъ возражаетъ, что о томъ, субъективенъ или объективенъ Гончаровъ, спорять еще и до сихъ поръ; что самыя понятія субъективности или объективности претерпѣли за это время большія измѣненія; что, наконецъ, «объективность Гончарова сдѣлалась вопросомъ въ тѣсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвѣстными Бѣлинскому». Г. же Бродскій находитъ, что недавно опубликованная переписка Гончарова «даетъ возможность считать точку зрѣнія Бѣлинскаго далеко не ошибочной»; что Гончаровъ умѣлъ «сжиматься, прятать себя, свое субъективное я въ ин-

тимныхъ тайникахъ, являться передъ читателемъ преображеннымъ, дѣйствительно объективнымъ художникомъ».

Отмѣчая ошибку Бѣлинскаго, я, конечно, обязанъ былъ брать понятіе объективности именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ употреблялъ его самъ Бѣлинскій, — каковую обязанность я и выполнилъ, такъ что указаніе на измѣнчивость этого понятія, сдѣланное г. Дерманомъ, совершенно отпадаетъ, какъ отпадаетъ и указаніе г. Бродскаго на переписку Гончарова: Н. Л. Бродскій говоритъ про объективность вовсе не въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорилъ про нее Бѣлинскій, а вслѣдъ за нимъ и я, — оба мы имѣли въ виду Гончарова-писателя. Не то, что въ личной жизни авторъ «Обломова» порою могъ быть раздражительнымъ и нервнымъ, «почти маниакомъ», а въ своихъ произведеніяхъ всегда является спокойнымъ, — не это важно для Бѣлинскаго (и для меня), а то, что, въ глазахъ знаменитаго критика, Гончаровъ былъ безтенденціозенъ и безстрастенъ; я опираюсь на воспоминанія самого романиста и на слова Бѣлинскаго: «у него (Гончарова) нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю» (Сочиненія Бѣлинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, III, 973). Вотъ это мнѣніе Бѣлинскаго и представляется мнѣ противоположнымъ истинѣ. Не только тѣ произведенія Гончарова, которыхъ нашъ критикъ не могъ знать, говорятъ именно объ отсутствіи у перваго объективности (не ясно ли, напримѣръ, что Марку Волохову онъ не сочувствуетъ, а сочувствуетъ лѣсническому Тушину; что онъ — за «бабушкину мораль», за общественный консерватизмъ; что Обломову онъ неодолимо симпатизируетъ и придаетъ ему очень многое отъ самого себя, какъ и всѣхъ почти героевъ надѣляетъ особенностями своего стиля? и развѣ это писатель-объективистъ провожаетъ Вѣру въ обрывѣ лирической мольбою: «Боже, прости ее, что она обернулась!»?), — не только эти произведенія, но и «Обыкновенная исторія», Бѣлинскому извѣстная, не позволяетъ утверждать, будто Гончаровъ «не

даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ» и одинаково безразлично относится къ Адуеву-старшему и къ Адуеву-младшему.

И, вопреки г. Дерману, очевидно, въ данномъ случаѣ несвѣдомленному, объективность Гончарова вовсе не «сдѣлалась вопросомъ въ тѣсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвѣстными Бѣлинскому». Я вынужденъ сослаться на самого себя и указать, что еще въ 1901 году, до появленія извѣстной монографіи о Гончаровѣ Е. А. Ляцкого, я въ статьѣ о творцѣ «Обломова» призналъ глубокимъ и поразительнымъ недоразумѣніемъ его репутацію объективности. По своему обыкновенію, я руководился не біографіей писателя, а его писаніями. Г. же Ляцкій, положившій въ основу своихъ разысканій именно біографическій элементъ, независимо пришелъ въ послѣдствіи къ тѣмъ самымъ выводамъ, что и я; особымъ письмомъ въ редакцію, напечатаннымъ въ журналѣ *Современникъ*, онъ самъ призналъ мой приоритетъ въ указаніи на субъективность Гончарова. Такимъ образомъ, рушится фактически-невѣрное заявленіе г. Дермана о роли біографическихъ данныхъ въ трактуемомъ вопросѣ; рушится и возможность объяснять ошибку Бѣлинскаго незнаніемъ біографіи Гончарова (къ тому же съ Гончаровымъ Бѣлинскій былъ и лично знакомъ).

Наконецъ, остается непоколебленнымъ и то мое утвержденіе, что Бѣлинскій не только за себя ошибся, но и пустилъ свою ошибку въ литературный оборотъ, чѣмъ и оказалъ на критиковъ отрицательное вліяніе: вотъ, напримѣръ, г. Ивановъ-Разумникъ въ одномъ изъ своихъ предисловій къ статьямъ Бѣлинскаго (тамъ же, III, 908) считаетъ, что авторъ «Литературныхъ мечтаній», выдвинувъ «объективизмъ художественнаго творчества» Гончарова, тѣмъ самымъ подчеркнул «характерную сторону» этого творчества.

Я перейду теперь къ разбору тѣхъ опроверженій, которыми оппоненты встрѣтили мои указанія на отдѣльныя эстетическія ошибки Бѣлинскаго.

Н. Л. Бродскій и Ч. В—скій возражаютъ на мою ссылку, что Бѣлинскій, по собственному признанію, «понимающей и цѣнящей поэтической талантъ» Лермонтова, какъ разъ оттого и предлагаетъ ему не вносить въ собраніе своихъ сочиненій «Ангела» и «Узника»—того, какъ выразился я, «безъ чего Лермонтовъ не Лермонтовъ». Съ моей оцѣнкой «Ангела» г. В—скій согласенъ; но вотъ и онъ, и г. Бродскій все-таки находятъ, что я не правъ; г. Бродскій сенсационно, курсивомъ, изобличаетъ меня даже въ томъ, что къ своему выводу я пришелъ, «не дочитавъ рецензіи Бѣлинскаго до конца». А этотъ конецъ (мнѣ, само собою разумѣется, вѣдомый столько же, сколько и отдѣленное отъ него нѣсколькими строчками начало) гласитъ, что «эти два стихотворенія недурны, даже хороши, но только не превосходны, а безъ этого не могутъ быть хороши, когда подъ ними подписано имя г. Лермонтова».

Не говоря уже о наивности такой скалы (*недурное, хорошее, превосходное*),—конецъ рецензіи расшатываетъ ли сколько-нибудь ея начало, ея гнетущую суть—надежду, что Лермонтовъ вычеркнетъ изъ своей поэзіи «Ангела»? И пусть Бѣлинскій, какъ отмѣчаетъ г. Ч. В—скій, угадалъ, что названные два стихотворенія—«очень раннія» у Лермонтова; пусть онъ всегда былъ противникомъ такихъ предназначенныхъ для широкой публики собраній, въ которыя входитъ каждая строчка писателя,—все это не имѣетъ никакого отношенія къ дѣлу и ничуть не колеблетъ приведеннаго мною факта, что знаменитый критикъ не считалъ для Лермонтова характернымъ и достойнымъ «Ангела» (и «Узника»). Дополненіемъ къ печатному отзыву объ этихъ произведеніяхъ и оправданіемъ словъ моихъ, а не гг. Бродскаго и В—скаго, является слѣдующій отрывокъ изъ письма Бѣлинскаго—о тѣхъ же «Ангелѣ» и «Узникѣ»: «Стихи Лермонтова недостойны его имени, они едва ли и войдутъ въ изданіе его сочиненій... и я ихъ ругну» (Письма, II, 70).

Кстати, онъ же и «Послѣднее новоселье» Лермонтова называлъ «гадостью» (Письма, II, 249).

Одно изъ грубыхъ и рѣзкихъ проявленій недодуманности Бѣлинскаго я усмотрѣлъ въ его отношеніи къ пушкинской Татьянѣ. Ея нравственной сущности онъ совсѣмъ не принимаетъ; ея послѣднія слова, обращенныя къ Онѣгину, вызываютъ у критика почти глумленіе («конецъ вѣнчаетъ дѣло» и т. д.) Въ періодъ первой встрѣчи съ Онѣгинымъ Татьяна для Бѣлинскаго—«нравственный эмбрионъ»; а то, что «Татьяна вѣрила преданьямъ простонародной старины и снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, и предсказаніямъ луны»,—это онъ считаетъ «грубыми, вульгарными предразсудками». Вотъ здѣсь и прерываетъ меня г. Ч. В-скій, утверждая, что у Бѣлинскаго «сказано такъ, да не совсѣмъ такъ»,—и онъ приводитъ извѣстную цитату (выпишу необходимую часть ея): «Татьяна возбуждаетъ не смѣхъ, а живое сочувствіе, ... осталась естественно простой въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность... Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно только въ русской женщинѣ». «Это не «постыдная непонятливость» (какъ я, Айхенвальдъ, назвалъ откликъ Бѣлинскаго на плѣнительные стихи Пушкина о суетвѣріяхъ Татьяны), «а восхищенное любованіе дѣвушкой, въ которой получала неожиданную прелесть и дань предразсудкамъ»—говоритъ мой рецензентъ. Но я совершенно не понимаю, гдѣ въ словахъ Бѣлинскаго нашель г. Ч. В-скій «восхищенное любованіе». Такъ какъ надъ «уваженіемъ» Татьяны къ Мартыну Задекѣ (по Пушкину—ея любимцу) знаменитый критикъ иронизируетъ, такъ какъ и французскія книжки героини тоже не пользуются его симпатіей, то вполне ясно, что подъ «дивнымъ соединеніемъ» надо понимать у него «дииковинное, странное соединеніе», и это послѣднее Бѣлинскій признаетъ возможнымъ только въ русской женщинѣ. А характерныя черты русской женщины и, въ частности, Татьяны сказались для него въ ея объясненіи съ Онѣгинымъ: пламен-

ная страсть, задушевность простого, искренняго чувства, чистота, святость наивныхъ движеній—и резонерство, оскорбленное самолюбіе, тщеславіе добродѣтелью, «подъ которой замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія», и «хитрые силлогизмы ума, свѣтской моралью парализовавшаго великодушныя движенія сердца». И то, что по мнѣнію Татьяны, она болѣе способна была внушать любовь, когда моложе и «лучше, кажется, была»,—это заставляетъ Бѣлинскаго насмѣшливо воскликнуть: «какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина!» И непростительной глупостью, заимствованной «изъ плохихъ сантиментальныхъ романовъ», просвѣщенный и передовой критикъ считаетъ то убѣжденіе Татьяны, о которомъ онъ иронически замѣчаетъ: «вѣдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность!» (а что же еще нужно? чего еще требовали другъ отъ друга Ромео и Джульетта?) И если бы г. В-скій свою цитату нѣсколько продолжилъ, онъ вынужденъ былъ бы привести слова Бѣлинскаго о томъ, что въ Татьянѣ «умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его,—да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее расчету благо-разумной морали»; или слова о томъ, что она—«созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, наглухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуальнаго существованія»; или слова о томъ, что она была «нравственно-нѣмотствующая и потому ея письмо, «прекрасное и теперь», все-таки «уже отзывается немножко какой-то дѣтскостью», и хотя «самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли и писалъ и читалъ это письмо», «но съ тѣхъ поръ много воды утекло». Впрочемъ, у Бѣлинскаго, всегда роскошествующаго противорѣчіями, есть и другія, болѣе достойныя рѣчи о Татьянѣ; но едва ли не самое задушевное мнѣніе его о ней мы встрѣчаемъ въ письмѣ къ Боткину (II, 394), гдѣ онъ говоритъ нѣчто такое, на что издатель его переписки накидываетъ цѣломудренную и все-же прозрачную вуаль изъ точекъ: «О Татьянѣ тоже согласенъ: съ тѣхъ

поръ какъ она хочеть вѣкъ быть вѣрною своему генералу.....
ея прекрасный образъ затемняется). Только нецензурное и
 только «благоразумную мораль» воспринимаетъ истолкователь
 Пушкина въ этой возвышенной исповѣди чувства и чести: «я васъ
 люблю... но я другому отдана,—я буду вѣкъ ему вѣрна». Своей невѣстѣ—конечно, почитательницѣ Татьяны—Бѣлинскій
 выговариваетъ, что она горячо заступаетъ за «эту прекрас-
 ную россиянку», и всегда это заступничество его «бѣсило и
 печаливало» (Письма, III, 23, 41). Въ разборѣ «Полтавы» онъ,
 рисуя обликъ Маріи, вопрошаетъ: «Что передъ ней эта пре-
 прославленная и столько восхищавшая всѣхъ и теперь еще мно-
 гихъ восхищающая Татьяна—это смѣшеніе деревенской мечта-
 тельности съ городскимъ благоразуміемъ?» Гдѣ же во всемъ этомъ
 «восхищенное любованіе»? Нѣтъ, душу пушкинской поэзіи, ея
 нравственный идеализмъ, воплощаемый Татьяной, Бѣлинскій
 въ слѣпотѣ своей отвергъ.

Онъ не принялъ, къ слову сказать, и отца Татьяны; и
 тамъ, гдѣ Пушкинъ живописуетъ милый образъ («онъ былъ
 простой и добрый баринъ.. смиренный грѣшникъ Дмитрій
 Ларинъ, господній рабъ и бригадиръ»); тамъ, гдѣ Владиміръ
 Ленскій, волнуя и трогая читателя, посвящаетъ пеплу «бѣднаго
 Юрика» свой элегическій вздохъ, и грустно вспоминаетъ: «онъ
 на рукахъ меня держалъ... какъ часто въ дѣтствѣ я игралъ
 его очаковской медалью», и полный искренней печалью чертитъ
 надгробный мадригаль,—тамъ нечуткій Бѣлинскій грубо нару-
 шаетъ всю эту красоту и сердечность, отказывается видѣть
 какую-нибудь разницу между Ларинымъ покойнымъ и Ларинымъ
 живымъ и непристойно говорить о почившемъ старикѣ: «не то,
 чтобъ человекъ, да и не звѣрь, а что-то въ родѣ полипа,
 принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ
 природы—растительному и животному».

Простодушнаго, безобиднаго Костякова изъ «Обыкновенной
 исторіи» онъ тоже называетъ «животнымъ».

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имѣлъ право сказать, что Бѣлинскій не принялъ «Капитанской дочки», коль скоро онъ пишетъ о ней, напримѣръ, такъ: «Капитанская дочка» Пушкина, по-моему, есть не больше, какъ беллетристическое произведение, въ которомъ много поэзіи, и только мѣстами пробивается художественный элементъ. Прочія повѣсти его—рѣшительная беллетристика» (Письма, II, 108.)

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имѣлъ право сказать, что Бѣлинскій не принялъ сказокъ Пушкина, коль скоро онъ называлъ ихъ «плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности», «уродливыми искаженіями и безъ того уродливой поэзіи». А если г. Бродскій замѣчаетъ, что нашъ критикъ рекомендовалъ дѣтямъ сказку «О рыбацѣ и рыбкѣ», то это вѣрно,—только почему же мой оппонентъ не упомянулъ кстати, что Бѣлинскій видѣлъ въ ней «исключеніе» и лишь оттого находилъ въ ней «положительныя достоинства»? Въ другихъ сказкахъ Пушкина, значить, положительныхъ достоинствъ нѣтъ. Отчего именно «строго относился» Бѣлинскій (выраженіе г. Бродскаго) къ сказкамъ Пушкина, отчего онъ отвергъ Ершова (оттого, объясняетъ мой рецензентъ, что все это казалось ему поддѣлкой подъ истинный народный ладъ, бывшій для него «милѣ») это—другой вопросъ, на которомъ я и не обязанъ былъ останавливаться. Понятно, что всякое явленіе имѣетъ свою причину,—есть причина и у эстетическихъ ошибокъ Бѣлинскаго; но какова бы она ни была, ошибки не перестаютъ быть ошибками. Причина объясняетъ слѣдствіе, но не уничтожаетъ его. И объясненіе не есть оправданіе. Къ тому же, и причина указана г. Бродскимъ далеко не точно: вотъ мы только что видѣли: «уродливое искаженіе и безъ того уродливой поэзіи» (Сочиненія Бѣлинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, III, 271). Вообще, отношеніе Бѣлинскаго къ народной русской словесности, его взглядъ на «немножко дубоватые матерьялы народныхъ нашихъ пѣсенъ» недаромъ вызвали впослѣдствіи такое огорченіе у Буслаева, который вспоминаетъ о себѣ, что онъ «не

презираль вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой... не глумился и не издѣвался вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ надъ нашими богатырскими былинами и пѣснями».

Въ числѣ эстетическихъ ошибокъ Бѣлинскаго я привелъ то, что онъ Даля провозгласилъ «послѣ Гоголя до сихъ поръ рѣшительно первымъ талантомъ въ русской литературѣ» и нѣкоторые его персонажи считалъ «созданіями геніальными». Г. Бродскій отвѣчаетъ мнѣ на это, что Даль въ свое время дѣйствительно «занималъ видное мѣсто, пожалуй, едва ли не первое», что онъ давалъ широкія картины быта, что и Пушкинъ цѣнилъ Даля и находилъ его «полезнымъ и нужнымъ».

Ясно, однако, что все это не колеблетъ моего замѣчанія: если бы и Бѣлинскій такъ смотрѣлъ на Даля, если бы онъ признавалъ его знатокомъ русской народности, талантливымъ авторомъ «физиологическихъ» очерковъ, писателемъ демократизма, то это встрѣтило бы и съ моей стороны полное сочувствіе. Я возставалъ только противъ «геніальности», противъ «перваго мѣста» за Гоголемъ. Я иллюстрировалъ только на этомъ примѣрѣ (какъ и на другихъ) поразительное отсутствіе у Бѣлинскаго эстетической перспективы, обезцѣнивающее у него даже и вѣрныя сужденія. Когда, чуждый «пафосу разстоянія», онъ ставитъ въ одинъ рядъ Шекспира, Гете и Купера, Шиллера и Загоскина, Гоголя и Павлова съ Вельманомъ, Гоголя и Даля, когда находитъ, что повѣсть Соллогуба «поглубже всѣхъ Бальзаковъ и Гюговъ», когда онъ соглашается, что Гоголь не ниже Купера, то удручаетъ это насильственное и невозможное сосѣдство, и уже не радуешься какъ-то за Шекспира, за Гете, за Гоголя, и уже не кажется авторитетной его высокая оцѣнка высокихъ: становится подозрителенъ Бѣлинскій даже и тамъ, гдѣ онъ правъ; вообще, его неправда компрометируетъ его правду.

По мнѣнію г. Бродскаго, мои упреки, что Бѣлинскій «высоко цѣнилъ» Вельтмана, «малоосновательны». Но неужто, въ самомъ дѣлѣ, «малоосновательно» упрекать нашего критика въ томъ, что, какъ я указалъ въ своей статьѣ, онъ романъ Вельтмана «Искендеръ» называлъ «однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ нашей литературы»? Впослѣдствіи «богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ» онъ считалъ пушкинскаго «Каменнаго Гостя,»—ювелиръ, не отличающій подлинныхъ алмазовъ отъ поддѣльных!..

Если, какъ въ возраженіе мнѣ отмѣчаетъ Н. Л. Бродскій, этотъ отзывъ о Вельтманѣ у Бѣлинскаго—«самый ранній» (1834 г., въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»), то отсюда не слѣдуетъ все-таки, что я въ своемъ упрекѣ неправъ; къ тому же, Бѣлинскій и въ концѣ своей дѣятельности, въ 1847 году (въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.»), даже перечисляя недостатки Вельтмана, признаетъ въ немъ «безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени».

Г. Бродскій думаетъ, что если бы я внимательно прочелъ отзывъ Бѣлинскаго о «Сценѣ изъ Фауста», то эта внимательность мое «странное» мнѣніе, будто критикъ не понялъ, не оцѣнилъ названной пьесы, сильно «сократила» бы (развѣ мое мнѣніе—длинное?) или даже «совсѣмъ уничтожила».

Какъ мнѣ доказать, что я читалъ вполне внимательно? Но и Н. Л. Бродскій не докажетъ, что у Бѣлинскаго нѣтъ тѣхъ резюмирующихъ словъ о «Сценѣ», которыя я привелъ въ своемъ очеркѣ: «(не смотря на то, пьеса эта) написана ловко и бойко и потому читается легко и съ удовольствіемъ». «*Не смотря на то*», т.-е. не смотря на свои недостатки, сцена «написана ловко и бойко» и т. д.: значить, въ послѣднихъ словахъ, въ заключеніи Бѣлинскаго, содержится самое похвальное, самое смягчающее, что онъ можетъ противопоставить изъянамъ произведенія,—то предѣльно-снисходительное, что онъ

можетъ сказать о твореніи, которое, на мой скромный взглядъ, глубокомысленно и вѣще, достойно Гете и достойно Пушкина (Бѣлинскій же говоритъ еще, что хотя Сцена «написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гетевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ничего общаго»). Если бы даже Бѣлинскій былъ правъ, со свойственной ему излишней чуткостью къ запросамъ «нашего времени» утверждая, что это «наше время», «знакомое съ демономъ другого поэта» (Лермонтова) «съ улыбкой смотритъ на Пушкинскаго чертенка» и пушкинскому Мефистофелю предпочитаетъ «демона движенія, вѣчнаго обновленія, вѣчнаго возрожденія», того «въ сущности преблагонамѣреннаго демона», который, если и «губитъ иногда людей и дѣлаетъ несчастными цѣлыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра челоувѣчеству и всегда выручая его»,—если бы, говорю я, Бѣлинскій былъ и правъ въ этомъ наивномъ пониманіи демонизма, какъ доброты, благонамѣренности и прогресса, то и въ такомъ случаѣ, вопреки Н. Л. Бродскому (который свое возраженіе мнѣ обосновываетъ ссылкой на указанную концепцію демона у Бѣлинскаго), это и не «сократило» бы, и не «уничтожило» бы моей мысли о томъ, что знаменитый комментаторъ Пушкина «Сценѣ изъ Фауста» никакого серьезнаго значенія не придавалъ.

Н. Л. Бродскій полагаетъ, что если бы я «захотѣлъ быть безпристрастнымъ» и не строилъ своего заключенія о взглядѣ Бѣлинскаго на Баратынскаго «по поводу отзыва Бѣлинскаго только объ одномъ стихотвореніи этого поэта», то я не сказалъ бы, будто первый «ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго».

Во-первыхъ, свое заключеніе объ отношеніи критика къ поэту я вывелъ не изъ одного отзыва Бѣлинскаго объ одномъ стихотвореніи Баратынскаго, а изъ всего, что первый писалъ о послѣднемъ (преимущественно же—изъ статьи Бѣлинскаго 1842 г.: «Стихотворенія Евгенія Баратынскаго»). Г. Бродскій

не замѣтилъ въ моей фразѣ дѣйствительно маленькаго слова—*и*. Фраза эта читается такъ: «Онъ ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго и, если въ 1838 г. называлъ его стихотвореніе *Сначала мысль воплощена въ поэму сжатую поэта*—истинной творческой красою, необыкновенной художественностью», то въ 1842 г. про это же стихотвореніе отзывался... (очень отрицательно). Союзъ *и* только исполнилъ здѣсь свою прямую обязанность—соединилъ одну мысль съ другой. То, что слѣдуетъ у меня послѣ *и*, говорить не о непониманіи Бѣлинскимъ Баратынскаго, а—правда, въ связи съ этимъ—о присущей нашему критику измѣнчивости оцѣнокъ; тѣ же шесть словъ, которыя седьмому слову *и* у меня предшествуютъ («онъ ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго»), содержатъ въ себѣ выводъ, повторяю, какъ изъ всѣхъ рецензій Бѣлинскаго на Баратынскаго, такъ и изъ той полемической литературы объ этихъ рецензіяхъ, съ которой я познакомился у Андреевскаго, у Саводника, у Венгерова.

Принятая мною форма «силуэта» даетъ мнѣ право на сжатость и право не показывать своей предварительной черновой работы. Но вотъ она же, эта моя излюбленная манера, привела меня теперь къ непроизводительной тратѣ времени, такъ какъ въ предлагаемой брошюрѣ мнѣ почти только то и приходится дѣлать, что развертывать сосредоточенныя предложенія своего первоначальнаго этюда. Правда, г. Бродскій именно въ сжатости мнѣ вообще отказываетъ (чтобы въ ея отсутствіи у меня убѣдиться, для этого, по его словамъ, надо бы переписать всѣ мои Силуэты); мою рѣчь, какъ автора, онъ называетъ «многоглаголивой». Но, можетъ быть, Н. Л. Бродскій не потребуетъ, чтобы въ подтвержденіе его приговора былъ переписанъ какъ разъ мой силуэтъ Бѣлинскаго? Можетъ быть, въ видѣ исключенія, онъ согласится, что по крайней мѣрѣ *этотъ* очеркъ скорѣе страдаетъ излишней лаконичностью, чѣмъ заслуживаетъ упрека въ многословности? Вѣдь недаромъ же другіе оппоненты корятъ меня моими четырнадцатью страничками.

Во-вторыхъ, если Бѣлинскій, какъ и я, признавалъ Бара-

тынскаго поэтомъ мысли и находилъ его языкъ сжатымъ (что, въ возраженіе мнѣ, напоминаетъ г. Бродскій), то отсюда еще далеко не слѣдуетъ, что Бѣлинскій Баратынскаго понялъ. Такія особенности въ авторѣ «Истины» подмѣчали многіе; и не подмѣтитъ ихъ грамотному человѣку нельзя (да и самъ поэтъ говоритъ о нихъ въ своей лирикѣ). Подобныя сужденія лишь констатируютъ фактъ, но сами по себѣ еще не ведутъ къ его пониманію и оцѣнкѣ; и совпаденіе такихъ элементарностей у разныхъ критиковъ ничего не доказываетъ и ни къ чему не обязываетъ. Самъ же г. Бродскій, усматривающій приведенную черту сходства во мнѣніяхъ о Баратынскомъ у Бѣлинскаго и у меня, справедливо утверждаетъ однако, что въ общемъ пониманіи поэзіи Баратынскаго я съ знаменитымъ критикомъ расхожусь. На непререкаемость именно своей оцѣнки я, вопреки г. Бродскому, конечно, не притязаю; но интересно отмѣтить, что какъ разъ вопросъ объ отношеніи Бѣлинскаго къ Баратынскому теперь наименѣе споренъ. Такъ, одинъ изъ глубокихъ почитателей Бѣлинскаго, одинъ изъ сильнѣйшихъ моихъ противниковъ, г. Ивановъ-Разумникъ говоритъ, къ моему удовлетворенію, слѣдующее: «Бѣлинскій не оцѣнилъ Баратынскаго—странно было бы стремиться это затушевывать... *Главное* въ Баратынскомъ все же не было выявлено въ критикѣ Бѣлинскаго» (Собр. сочин. В. Г. Бѣлинскаго, II, 538—539). Въ только что выпущенномъ Академіей Наукъ собраніи сочиненій Баратынскаго его біографъ, г. М. Л. Гофманъ, на стр. LXXVIII перваго тома, замѣчаетъ: «Больно задѣвали самолюбіе поэта неодобрительные отзывы о немъ Бѣлинскаго и критиковъ, вторившихъ Бѣлинскому».

А если, какъ цитируетъ Н. Л. Бродскій, тотъ же Бѣлинскій сказалъ, что «изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, первое мѣсто безспорно принадлежитъ г. Баратынскому», то это лишь подтверждаетъ тѣ совершенно исключительныя противорѣчивость, легкомысленность и праздность сужденій Бѣлинскаго, которыя, въ данномъ случаѣ, позволяли ему на ряду съ такимъ приближеніемъ Баратынскаго

къ Пушкину писать, что «теперь даже и въ шутку никто не поставитъ имени г. Баратынскаго подлѣ имени Пушкина»; что Баратынскій ниже Козлова и что муза Баратынскаго — «свѣтская, паркетная»; что Баратынскаго слѣдуетъ назвать въ числѣ тѣхъ писателей, относительно которыхъ нашъ непостоянный критикъ вопрошаетъ: «И гдѣ же они теперь, гдѣ ихъ слава, кто говорить о нихъ, кто помнить? Не обратились ли они въ какія-то темныя преданія?» (Письма, III, 304). Въдъ одна изъ основныхъ идей моего оспариваемаго силуэта въ томъ и заключается, что у Бѣлинскаго есть *все* и что въ этомъ—его и наше несчастье.

То, что Бѣлинскій, какъ соглашается Н. Л. Бродскій, въ 1836 году «Скупого Рыцаря», подписаннаго буквой Р., не распозналъ («отрывокъ переведень хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себѣ»),—это только для г. Бродскаго, а не для меня, искупається тѣмъ, что «уже въ 1838 году» критикъ считалъ драму Пушкина «лучшимъ созданиемъ», «сохранивъ этотъ взглядъ до конца жизни». Въ 1838 году... Тогда уже было извѣстно, что «Скупой Рыцарь» принадлежитъ не Р., а Пушкину; тогда уже многіе восторгались этой красотою. И такъ какъ въ моихъ глазахъ Бѣлинскій—мыслитель, необычайно внушаемый, то я никакой заслуги съ его стороны и не вижу въ томъ, что онъ перемѣнилъ свое прежнее изумительное мнѣніе. Вотъ если бы «лучшее созданіе» было отмѣчено, какъ такое, при жизни поэта, въ 1836 году; если бы *тогда* Бѣлинскій разслышалъ Пушкина; если бы *тогда* донесся до его сердца этотъ голосъ «шуму водъ подобный»!..

Н. Л. Бродскій (изъ всѣхъ моихъ оппонентовъ наиболѣе богатый фактическими указаніями,—оттого я такъ долго и бесѣдную съ нимъ), — Н. Л. Бродскій пишетъ дальше: «Ю. И. Айхенвальдъ не замѣтилъ (!), что Бѣлинскій — авторъ статей

о Гоголѣ, Кольцовѣ, Лермонтовѣ, Пушкинѣ, что онъ по одному стихотворенію М. предсказалъ талантъ А. Майкова, что онъ первый привѣтствовалъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Григоровича, Некрасова, Искандера-Герцена, объяснилъ ихъ, разсыпавъ до сихъ поръ неумершія замѣчанія объ индивидуальной силѣ cadaго дарованія».

Я понимаю, отчего послѣ словъ «не замѣтилъ» мой рецензентъ поставилъ восклицательный знакъ: въ самомъ дѣлѣ, было бы удивительно, если бы я не замѣтилъ, авторомъ какихъ статей является Бѣлинскій и что онъ говорилъ о каждомъ изъ перечисленныхъ писателей. Но для такого удивленія нѣтъ повода, потому что «до сихъ поръ неумершія замѣчанія» Бѣлинскаго о разныхъ авторахъ я помнилъ; именно поэтому въ своей статьѣ я и сказалъ, что у него были «отдѣльныя правильныя концепціи, отдѣльныя вѣрныя характеристики»; что «конечно, были у него и правильныя догадки, были вѣрныя оцѣнки»; что «иногда загораются у него мысли и слова, которыя надо только привѣтствовать и запомнить»; что «не только отъ его дурного, но и отъ его хорошаго, рассыпались мысли, разсѣялись по русской землѣ яркія искры»; что онъ высказывалъ «много вѣрныхъ и цѣнныхъ идей о сущности красоты, о первенствѣ формы, о творческомъ элементѣ критики»... По поводу, въ частности, Гоголя я выразился, что о немъ, какъ и о Пушкинѣ, какъ и о Грибоѣдовѣ, какъ и о Лермонтовѣ, Бѣлинскій выказалъ уклоненія и ошибки — «на ряду съ вѣрными сужденіями» (этимъ я отвѣчаю и на фактически-невѣрный упрекъ г. Ч. В-скаго, будто я «ни словомъ не упомянулъ о положительномъ,—напр., роли Бѣлинскаго въ установленіи художественной славы Гоголя и т. п.»). Вотъ почему нельзя возражать мнѣ ссылкой на хорошее и цѣнное у Бѣлинскаго,—я самъ его не отрицалъ; спорить можно только о томъ, правильно ли я соблюлъ пропорціи, вѣрно ли распредѣлилъ свѣтъ и тѣни, такъ ли замѣтилъ плюсы и минусы знаменитаго критика (къ этому вопросу я вернусь ниже).

Итакъ, мимо сдѣланнаго г. Бродскимъ перечня я могъ бы пройти, потому что этотъ перечень—не возраженіе на мою характеристику Бѣлинскаго; но въ интересахъ дѣла я все-таки о нѣкоторыхъ названныхъ именахъ нѣсколько словъ скажу.

Съ какими существенными, а иногда и роковыми, оговорками должно признать, что Бѣлинскій оцѣнилъ *Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго, Гончарова*,—на это я уже указывалъ; въ примѣненіи къ *Пушкину* и *Лермонтову* я объ этомъ и еще выскажусь потомъ.

Что касается *Гоголя*, то въ защиту своей мысли, что относительно него, какъ и относительно *Пушкина, Лермонтова, Грибоѣдова*, вѣрныя сужденія Бѣлинскій, критикъ ненадежный, человекъ шаткаго ума и колеблющагося вкуса, выражалъ въ перемежку съ уклоненіями, ошибками, отступленіями,—я напому хотя бы слѣдующіе факты:

I. Въ письмѣ Бѣлинскаго къ Боткину (II, 295) мы читаемъ: «Страшно подумать о Гоголѣ: вѣдь во всемъ, что ни писалъ—одна натура, какъ въ животномъ. Невѣжество абсолютное! Что онъ наблевалъ о Парижѣ-то!»

II. Было время (1835 г.), когда Бѣлинскій не только заявлялъ: «я... пока еще не вижу генія въ г. Гоголѣ», но и о «Портретѣ» утверждалъ, что «эта повѣсть рѣшительно никуда не годится» (Сочин., подъ ред. Венгерова, II, 101).

III. Въ 1840 г. Бѣлинскій готовъ былъ не ставить Гоголя ниже Вальтеръ Скотта и Купера, но (справедливо) былъ для него Гоголь «не русскій поэтъ въ томъ смыслѣ, какъ Пушкинъ, который выразилъ и исчерпалъ собою всю глубину русской жизни», и въ созданіяхъ Гоголя (несправедливо) видѣлъ нашъ критикъ только «Тараса Бульбу» (котораго «можно равнять» съ пушкинскимъ творчествомъ) и находилъ, что это произведеніе «выше всего остального, что напечатано изъ сочиненій Гоголя» (Письма, II, 137—138).

IV. Когда Юрій Самаринъ глубоко-правильно и глубоко-прозорливо написалъ, что Гоголь въ «глухой безцвѣтный

міръ» своего творчества «первый опустился какъ рудокопъ» и что «съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигъ цѣлой жизни, выраженіе личной потребности внутренняго очищенія», то надъ этими прекрасными и проникновенными словами Бѣлинскій въ своемъ «Отвѣтъ Москвитянину» плоско издѣвался,—т. е., значить, охарактеризованной Самаринымъ сущности и трагедіи Гоголя не понять. Такъ же насмѣшливо отвергалъ онъ и вѣрную мысль о существенномъ отличіи Гоголя отъ натуральной школы. Правда, въ частномъ письмѣ къ Кавелину, который возражалъ Бѣлинскому и защищалъ Самарина, нашъ знаменитый критикъ, обычно признаваемый за идеаль искренности, такъ поучалъ своего корреспондента: «На счетъ вашего несогласія со мною касательно Гоголя и натуральной школы, я вполне съ вами согласенъ, да и прежде думалъ такимъ же образомъ.—Вы, юный другъ мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, *для кого и для чего* она писана. Дѣло въ томъ, что писана она не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальныхъ обвиненій. Поэтому, *я счелъ за нужное сдѣлать уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться, и кое-что изложилъ въ такомъ видѣ, который мало имѣетъ общаго съ моими убѣжденіями касательно этого предмета* (курсивъ мой, Ю. А.)... Вы, юный другъ мой, хорошій ученый, но плохой политикъ» (Письма, III, 299). Но неужто Бѣлинскій въ самомъ дѣлѣ преднамѣренно соглашался выступить дурнымъ критикомъ, лишь бы оказаться хорошимъ политикомъ? Мнѣ хотѣлось бы защитить его отъ него самого; мнѣ хотѣлось бы думать, что неискрененъ былъ Бѣлинскій въ письмѣ, а не въ печати, что онъ не рѣшился бы сознательно обмануть въ литературѣ, тяжело согрѣшить противъ Слова...

По отношенію къ *Тургеневу* надо замѣтить, что (какъ объ этомъ упоминаетъ и Достоевскій въ цитированномъ уже письмѣ къ Страхову), Бѣлинскій отказывалъ ему въ «талантѣ чистаго творчества», въ умѣннн «создавать характеры, ставить

ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы или повѣсти» (Сочин. подъ ред. Иванова-Разумника, III, 994). Въ «Уѣздномъ лѣкарѣ» критикъ «не понялъ ни единого слова» и въ «Малиновой водѣ» «рѣшительно не понялъ Степушки» (Письма, III, 337).

По отношенію къ Некрасову надо замѣтить, что о первыхъ его стихотвореніяхъ Бѣлинскій далъ очень презрительный отзывъ, и начинающій поэтъ угнетенно прочелъ о себѣ: «посредственность въ стихахъ нестерпима» (Сочиненія подъ ред. Венгерова, V, 221).

Шагъ за шагомъ покорно слѣдуя моему оппоненту, я подхожу къ той тирадѣ Н. Л. Бродскаго, которую онъ самъ считаетъ крайне важной, почему и печатаетъ ее курсивомъ: «лучшими страницами своихъ силуэтовъ Ю. И. Айхенвальдъ обязанъ Бѣлинскому, свое правильное, напр., о Пушкинѣ, Лермонтовѣ онъ получилъ отъ «неистоваго Виссаріона» (стр. 18).

Я думаю, что какъ лучшими, такъ и худшими страницами своихъ «Силуэтовъ» я обязанъ самому себѣ. Но умѣстиѣе было бы этого вопроса совсѣмъ не поднимать. И здѣсь я долженъ отмѣтить, что вообще г. Бродскій въ своей рецензій удѣляетъ мнѣ слишкомъ много незаконнаго вниманія: онъ касается не только моего этюда о Бѣлинскомъ (въ чемъ состояла бы его прямая и единственная задача), но и всей моей литературной дѣятельности въ ея цѣломъ. При этомъ Н. Л. Бродскій остроумно пользуется методомъ попугая: онъ какъ бы передразниваетъ меня и повторяетъ едва ли не всѣ упреки, которые я дѣлаю Бѣлинскому,—но уже въ примѣненіи ко мнѣ; «остріе» моихъ подлинныхъ словъ, укоряющихъ знаменитаго критика, онъ методически обращаетъ противъ меня самого, забывая, что Бѣлинскій—самъ по себѣ, а я—самъ по себѣ. Это упорное сопоставленіе Бѣлинскаго и Айхенвальда такъ настойчиво проходитъ черезъ всю его статью, что рецензентъ *Русскихъ Вѣдомостей* г. И. Игнатовъ въ своемъ отзывѣ о ней отъ 26 февр. 1914 г. какъ разъ въ этомъ и уви-

даль ея основное содержаніе, ея центральный тезисъ: «обвиненія г. Айхенвальда, направленныя противъ Бѣлинскаго, — самообвиненія». Оттого, что мой оппонентъ неуклонно держится такого пріема, даже возникаетъ сперва очень обидное для г. Бродскаго предположеніе, будто великимъ критикомъ онъ считаетъ не только Бѣлинскаго, но и меня. И дѣйствительно, лишь при этомъ условіи, лишь при этой предпосылкѣ, его полемическая метода получаетъ смыслъ. Иначе что же? Допустимъ на минуту, что во всѣхъ недостаткахъ, которые онъ мнѣ приписываетъ, я въ самомъ дѣлѣ повиненъ. Такъ вѣдь я Бѣлинскому не указъ. Такъ вѣдь изъ того, что я тоже плохъ, не слѣдуетъ, что хорошъ Бѣлинскій. Но то предположеніе, о которомъ я только что говорилъ, къ счастью (или къ логическому несчастью) г. Бродскаго, скоро и безъ слѣда разбирается, и мой оппонентъ выноситъ мнѣ, какъ писателю, во истину смертный приговоръ. Набрасывая мой литературный силуэтъ, Н. Л. Бродскій не только приходитъ къ выводу, что меня характеризуютъ органическая непричастность къ искусству, эстетическое безвкусіе, изумительная непонятливость и бѣдность мыслью, но, какъ я и раньше отмѣтилъ, кромѣ интеллектуальнаго, онъ убиваетъ и мой моральный образъ, лишаетъ меня писательской честности, и въ заключеніи его статьи я буквально оказываюсь мертвой душою, человѣкомъ на закатѣ духовной жизни, жертвой духовной старости, дремоты, нравственнаго опустошенія и опошленія. Такъ если я, въ пониманіи Н. Л. Бродскаго, таковъ, то удивительно ли, что я не менѣе дурачъ, чѣмъ Бѣлинскій, и надо ли меня вообще тогда съ Бѣлинскимъ сопоставлять, и можно ли его мѣрить мною?

Читатели понимаютъ, что въ своей брошюрѣ, посвященной вопросу о Бѣлинскомъ, я не могу разбирать тѣхъ постороннихъ нареканій, которыя щедро направляетъ г. Бродскій противъ другихъ моихъ статей, противъ моего писательства вообще. Мнѣ было бы даже пріятно поговорить о себѣ, показать, какъ мнимы тѣ противорѣчія, въ которыхъ уличаетъ меня мой рецензентъ, на какихъ довольно элементарныхъ,

недоразумѣніяхъ основаны его упреки,—но я не имѣю права этимъ заниматься, потому что это къ дѣлу не относится и рѣчь идетъ не обо мнѣ, а о Бѣлинскомъ. Себя я въ правѣ защищать лишь постольку, поскольку это находится въ прямой и непосредственной связи съ моей характеристикой послѣдняго. Развѣ еще вотъ фактическія ошибки г. Бродскаго я обязанъ исправить. Съ одной я уже это сдѣлалъ выше (по поводу Тютчева). Вторая состоитъ въ слѣдующемъ: увѣряя, что я «ни на что иное не годенъ, какъ на елейныя молитвы», и приписывая мнѣ странную мысль, будто я отрицаю, что «красота не только во вселенной, но и въ борьбѣ, въ общественныхъ движеніяхъ» (точно борьба и общественныя движенія помѣщаются внѣ вселенной), г. Бродскій къ этому послѣднему мѣсту своей рецензіи дѣлаетъ такую выноску: «см. отрицательное отношеніе г. Айхенвальда къ «народничеству» (вып. II, 163)»; я посмотрѣлъ, не безъ тревоги, и увидѣлъ, что Н. Л. Бродскій ссылается на мои слова о тургеневскомъ Неждановѣ: «отъ хожденія въ народъ ушелъ эстетикъ Неждановъ въ смерть (правда,—для отрицательно отношенія къ хожденію достаточно было бы одного ума, а не эстетики)»; итакъ, мой рецензентъ пишетъ и беретъ въ кавычки «народничество» тамъ, гдѣ у меня сказано «хожденіе въ народъ»; итакъ, онъ ужасающе смѣшиваетъ великое философское, социальное и литературное направленіе народничества съ тѣмъ «хожденіемъ», которое осудилъ самъ Тургеневъ и которое представляло собою маскарадъ,—по истинѣ, водевиль съ переодѣваніемъ, трагическій водевиль...

Возвращаюсь къ напечатанной курсивомъ цитатѣ изъ Н. Л. Бродскаго и къ тому, что за нею и что изъ нея слѣдуетъ. На нѣсколькихъ пунктахъ, очень важныхъ, мой оппонентъ доказываетъ, что я схожусь съ Бѣлинскимъ въ оцѣнкѣ *Пушкина*, что «общее представленіе о великомъ поэтѣ» иногда «до буквального тождества» у меня—такое же, какъ и въ знаменитомъ «восьмомъ томѣ». Изъ этого онъ дѣлаетъ выводъ, что я «не имѣлъ никакого права обвинять Бѣлинскаго, будто тотъ «не вмѣстилъ Пушкина». Ясно, однако, что выводъ неправи-

лень; ясно, что въ устахъ г. Бродскаго онъ былъ бы правиленъ лишь въ томъ случаѣ, если бы мой противникъ считалъ меня великимъ критикомъ, считалъ меня вмѣстившимъ Пушкина, считалъ мое слово о Пушкинѣ исчерпывающимъ, послѣднимъ,—такимъ, дальше и глубже котораго идти нельзя. Но въдь ничего подобнаго г. Бродскій не думаетъ, и поэтому изъ его посылки логика позволила бы ему сдѣлать лишь то заключеніе, что, если я совпадаю съ Бѣлинскимъ, значитъ—я тоже не вмѣстилъ Пушкина, я тоже недостаточно глубока и зорка, я тоже Пушкина всецѣло не постигъ,—и съ этимъ заключеніемъ я долженъ былъ бы вполне искренне, хотя и смущенно, согласиться. Тотъ же силлогизмъ, который строить мой критикъ, критики не выдерживаетъ.

Г. Бродскій говоритъ о себѣ: «мы не настолько наивны, чтобъ объяснять тождественныя оцѣнки ученичествомъ Ю. И., «списываніемъ», но должны напомнить, что, по признанію самого Ю. И. Айхенвальда, «духъ Бѣлинскаго виталъ въ классахъ его школы, носился надъ тетрадами его сочиненій, проникалъ въ юношеское сердце его», и безсознательно глубоко овладѣлъ имъ и вѣялъ надъ нимъ, когда онъ, быть можетъ, отмахивался, отбивался...» (стр. 23).

То, въ чемъ я признался, передано Н. Л. Бродскимъ вѣрно; но, чтобы я отъ Бѣлинскаго «отмахивался, отбивался»,—это невѣрно. Вліяніе на себя прославленнаго критика я помню и объективно подтвердилъ это тѣмъ, что въ своихъ писаніяхъ не однажды его называю; я даже могу дать г. Бродскому лишнее оружіе противъ себя (т. е. то, что онъ считаетъ противъ меня оружіемъ) и напомнить ему, что именно въ своей книгѣ о Пушкинѣ я Бѣлинскаго сочувственно цитирую (стр. 78). И какъ разъ потому, что это вліяніе я въ себѣ хранилъ, къ спеціальному изученію Бѣлинскаго я въ самомъ дѣлѣ подошелъ «предвзято» (въ чемъ справедливо упрекаютъ меня оппоненты); но только предвзятость моя была совсѣмъ не та, о какой они говорятъ: она была *въ пользу* Бѣлинскаго; надо мной рѣяли свѣтлыя юношескія впечатлѣнія,—оттого и вышла такъ сильна

горечь моего разочарованія... О своихъ субъективныхъ настроеніяхъ, впрочемъ, я здѣсь говорить не долженъ. А что Бѣлинскій за энергичное утвержденіе интереса къ русской книгѣ, за самый фактъ своего труднаго журналистскаго дѣла, за то хорошее, что все-таки носилось отъ его страницъ и отъ его стилизованнаго лица,—что за все это онъ, несмотря на свои огромные недостатки, заслуживаетъ не только моей личной благодарности (въ мнимомъ отсутствіи которой меня укоряютъ г. Бродскій и другіе), но и, что несравненно важнѣе, благодарности исторической,—объ этомъ я вполне опредѣленно самъ сказалъ на 13 и 14 страницахъ своего очерка. И напрасно думаетъ подозрительный г. Ивановъ-Разумникъ, что патрономъ учителей русской словесности я называлъ Бѣлинскаго «презрительно»; да ужъ и потому не приходится мнѣ учителей русской словесности «презирать», что я самъ имѣю честь принадлежать къ ихъ числу. И я отъ всей души привѣтствую слова г. Евг. Ляцкаго: «если бы онъ (Бѣлинскій) не написалъ ни слова и только прошелъ по стогнамъ міра *свѣтящимся* человекомъ, то и тогда никто изъ людей, знавшихъ цѣну великому и прекрасному, не сказалъ бы, что жизнь Бѣлинскаго протекла бесплодно»; я эти возвышенныя слова тѣмъ болѣе привѣтствую, что вѣдь ни я, да и никто другой, кажется, не говорилъ, будто жизнь Бѣлинскаго протекла бесплодно.

Но я обязанъ все-таки указать, что въ самомъ существенномъ и главномъ я, вопреки гг. Бродскому и Иванову-Разумнику, во взглядахъ на Пушкина съ Бѣлинскимъ расхожусь. Сходства здѣсь меньше, чѣмъ разницы. И это можно видѣть именно на томъ примѣрѣ, который особенно выдвигаютъ гг. Бродскій и Ивановъ-Разумникъ,—на вопросѣ о томъ, какъ оцѣнилъ Бѣлинскій дивную всеотзывность Пушкина. Мои критики соотвѣтственными цитатами указываютъ, что знаменитый авторъ «восьмого тома» какъ разъ на ней и настаивалъ, подобно тому какъ на ней же настаиваю я. По выраженію г. Иванова-Разумника, я Бѣлинскаго же «добромъ бью ему челомъ»; категорически заявляетъ мой противникъ, что свою мысль объ

этой чертѣ нашего великаго поэта я «заимствовалъ» именно у Бѣлинскаго.

Если бы мнѣ позволили сдѣлать недоступное провѣркѣ автобіографическое заявленіе, то я сообщилъ бы, что, во-первыхъ, идея о всечеловѣчности Пушкина гораздо сильнѣе поразила меня когда-то у Достоевскаго, у Гоголя, у Ключевскаго, чѣмъ у Бѣлинскаго, и что, во-вторыхъ, свою мысль я въ концѣ концовъ заимствовалъ у самого себя; еще вѣрнѣе сказать, что когда читаешь Пушкина, напримѣръ—его «Эхо», то впечатлѣніе всесторонней отзывчивости невольно возникаетъ у каждаго само собою.

То «по истинѣ поразительное мѣсто», про которое г. Ивановъ-Разумникъ сказалъ, что я возвращаю Бѣлинскому его же добро, и которое съ моей стороны «невѣроятно, но фактъ»,—это мѣсто моего этюда читается такъ: «Дивная всеотзывность Пушкина, то, что порождаетъ передъ нимъ благоговѣйное изумленіе, то, что для него наиболѣе характерно,—это внушаетъ критику (Бѣлинскому) такія строки: «поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею *случайностью* въ выборѣ предметовъ».

И, полный негодованія, на эти слова мои вотъ какъ откликается г. Ивановъ-Разумникъ: «И все! И больше ни слова! Ни о томъ, откуда взята эта «случайная» фраза Бѣлинскаго, ни о томъ, когда и въ какомъ контекстѣ она сказана...! Довольно!»

Нѣтъ, не довольно: я сейчасъ укажу г. Иванову, откуда и изъ какого контекста взята мною фраза Бѣлинскаго,—и послѣ этого также и г. Бродскій увидитъ, что между моимъ прославленіемъ всеотзывности Пушкина и ея характеристикой у знаменитаго критика есть глубокое различіе.

Въ 1843 г. зрѣлый Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ», заявивъ: натура Пушкина была «до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше», продолжаетъ: «Отсюда происте-

каютъ и великія достоинства, и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки, не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаетъ собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка... Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективность—качество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму,—отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже устарѣлость во мнѣніяхъ и странные предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который *только* художникъ (т. е. вмѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени)... Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею случайностью въ выборѣ предметовъ... Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ всѣ эти произведенія («Борисъ Годуновъ», «Пѣсни западныхъ славянъ», «Каменный гость») съ русскимъ обществомъ, съ русскою дѣятельностію? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она создала самое себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охладѣло къ своему великому, своему дотолѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апогея своего художческаго величія. Общество въ этомъ случаѣ и право и неправо—право потому, что не всѣмъ же быть дилеттантами и знатоками искусства; неправо потому, что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской... Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчныя времена останется учителемъ (maestro) всѣхъ будущихъ поэтовъ; но если бъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности,—это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія геніальности, или великости таланта»

(Сочиненія В. Бѣлинскаго, часть седьмая, изд. четвертое 1883 г. стрр. 365—367).

Такимъ образомъ, что для меня—проявленіе нравственнаго универсализма, то для Бѣлинскаго—нѣчто близкое къ нравственному индиферентизму, устарѣлость во мнѣніяхъ и странные предразсудки; что для меня—преодолѣніе временъ и пространствъ, поэтическое вездѣсущіе, всечеловѣчность и всеотзывность, то для Бѣлинскаго—случайность въ выборѣ предметовъ; что для меня въ Пушкинѣ—лицо, божественное лицо, то для Бѣлинскаго—затылокъ. Тѣ, которые находятъ, что между лицомъ и затылкомъ есть разница, должны признать, что есть разница и въ оцѣнкѣ Пушкина у меня и у Бѣлинскаго.

Я могъ бы доказать существованіе такого же кореннаго различія и на нѣсколькихъ другихъ пунктахъ, которые кажутся г. Бродскому точками соприкосновенія между Бѣлинскимъ и мною; но въ интересахъ краткости и обобщенности я этого не стану дѣлать; да и безъ того слишкомъ ясно, что въ конечномъ постиженіи, въ опредѣляющей концепціи Пушкина я съ авторомъ «Литературныхъ мечтаній» далеко не совпадаю.—къ счастью для себя. Ибо никакими снадобьями нельзя вытравить у Бѣлинскаго роковыхъ строкъ, что «Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта»; никакими истолкованіями его критики нельзя уничтожить его близорукаго мнѣнія, что у Пушкина нѣтъ мысли, глубины, міросозерцанія, что онъ—«только» поэтъ, «только» художникъ, что его поэзія не поднялась до «современнаго европейскаго образованія» и въ большинствѣ своихъ произведеній не даетъ «удовлетворительнаго отвѣта на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго»; никогда не забудетъ исторія русской литературы и культуры, что Бѣлинскій не принялъ Татьяны (а Пушкинъ безъ Татьяны, безъ ея принципа,—не Пушкинъ).

И вотъ, все то, что Бѣлинскій въ Пушкинѣ отвергаетъ,

я благоговѣнно принимаю: неужели это не разница? А если многое у Пушкина онъ признавалъ и любилъ (многое такое, что впоследствии призналъ и полюбилъ и я), то это меня не опровергаетъ, потому что я и самъ это отмѣтилъ, и я не говорилъ, будто Бѣлинскій не цѣнилъ Пушкина: я опредѣленно и ясно сказалъ, что онъ его не *дооцѣнилъ*.

Коль скоро ужъ г. Бродскій такъ усердно занимается сопоставленіемъ Бѣлинскаго со мною и меня съ Бѣлинскимъ, то и по вопросу о *Лермонтовѣ* мнѣ было бы нетрудно показать, что, при несомнѣнномъ сходствѣ во взглядахъ обоихъ сравниваемыхъ критиковъ на пѣвца Тамары, у меня все-таки въ общемъ—иное представленіе о творчествѣ Лермонтова, чѣмъ у Бѣлинскаго, и я никогда, въ противоположность послѣднему, не радовался мнимому отсутствію у нашего поэта «средства съ рефлексіей» (Письма, II, 68), и для моей характеристики лермонтовскаго духа крайне необходимъ тотъ самый «Ангель», котораго, какъ нѣчто нехарактерное и недостойное, Бѣлинскій немилосердно изгонялъ.

Въ полемическомъ увлеченіи противъ меня Н. Л. Бродскій не хочетъ признавать даже того неоспоримаго факта, что Бѣлинскій измѣнилъ своему эстетизму, своей ранней формулѣ: «поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя», что во второмъ періодѣ своей литературной дѣятельности онъ подчинилъ искусство общественной пользѣ. И послѣ ряда цитатъ, подтверждающихъ, что, даже въ стадію отрицанія за искусствомъ автономности, Бѣлинскаго все-таки «не покидало сознаніе цѣнности эстетическаго воспріятія художественныхъ произведеній», г. Бродскій удивленно замѣчаетъ: «гдѣ г. Айхенвальдъ нашелъ въ его сочиненіяхъ «вульгарный утилитаризмъ», какъ онъ могъ увидѣть основную мысль Бѣлинскаго въ завершающій періодъ его работы—порабощеніе искусства», мы не знаемъ» (стр. 27).

Какъ жаль, что г. Бродскій этого не знаетъ, и какъ

странно! Вѣдь я въ той самой статьѣ, которую онъ оспариваетъ, привелъ подлинныя слова Бѣлинскаго. Вотъ я ихъ повторю и дополню его же новыми словами: «...Нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго,—теперь искусство—не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ». (Собр. соч. Бѣлинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, т. II, стр. 963).

Итакъ, если Бѣлинскій утверждаетъ, что «теперь искусство—не господинъ, а рабъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій не увидѣлъ здѣсь *порабощенія*? И если Бѣлинскій утверждаетъ, что «каждый умный человекъ вправѣ *требовать*, чтобы поэзія поэта... исполнена была скорбью... тяжелыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій думаетъ, будто лишь моя «ослѣпленная предубѣжденность» увидѣла здѣсь заказанную скорбь? (стр. 28). Я ли слѣпъ?

Если, далѣе, г. Бродскій не вѣритъ мнѣ, что Бѣлинскій, какъ художественный критикъ, направилъ свои шаги отъ эстетики въ сторону вульгарнаго утилитаризма и что Писаревъ—его законный сынъ, то, быть можетъ, онъ повѣритъ въ этомъ своему соратнику по борьбѣ со мною, одному изъ наиболѣе сильныхъ и свѣдущихъ отрицателей моей характеристики Бѣлинскаго, г. Иванову-Разумнику? А г. Ивановъ-Разумникъ по поводу только что приведенныхъ словъ знаменитаго критика говоритъ слѣдующее: «*Искусство не господинъ, а рабъ: эта лапидарная формула знаменуетъ собою крайній предѣлъ въ эволюціи взглядовъ Бѣлинскаго на искусство; искусство служитъ постороннимъ для него цѣлямъ; это изреченіе послужило исходнымъ пунктомъ для построенія шестидесятниками своего рода утилитаристической эстетики* (курсивъ мой. Ю. А.). Правда, Бѣлинскій оговаривается, что эти формулы его относятся только къ «критическимъ эпохамъ», но эта оговорка не мѣняетъ общаго смысла формулъ: *Бѣлин-*

скій въ развитіи своихъ идей на искусство достигъ до крайней возможной точки отрицанія самоцѣльнаго искусства и утвержденія служебной его роли (курсивъ мой. Ю. А.)... Взгляды Бѣлинскаго на искусство въ 1845 году и десятью годами раньше — это два полюса, двѣ крайности»... (Тамъ же, II, 960).

Я подь этой тирадой г. Иванова-Разумника только потому не подписываюсь обѣими руками, что всегда подписываюсь одной. И мнѣ очень пріятно, что въ данномъ пунктѣ я могу безопасно не думать о самозащитѣ, такъ какъ меня отъ г. Бродскаго могуче защищаетъ его авторитетный союзникъ, мой авторитетный противникъ.

Если же, наконецъ, Н. Л. Бродскій не вѣрить все-таки ни мнѣ, ни моему, хотя и минутному, единомышленнику, то ужъ несомнѣнно повѣритъ онъ самому Бѣлинскому. А самъ Бѣлинскій вотъ что пишетъ Боткину въ завершающей періодъ своего творчества и—увы! своей жизни: «...Мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертациею. Для меня—дѣло въ дѣлѣ. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна, и я ее не читаю, а пожираю... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, — *тѣмъ* она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть расхудоженна, да если въ ней нѣтъ дѣла-то, братецъ, дѣла-то: je m'en fous. Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней» (Письма, III, 324).

Такъ вотъ, критикъ художества, который въ художественномъ произведеніи видитъ «дѣло» не въ художественности, а въ чемъ-то другомъ; который думаетъ, что въ созданіяхъ

художества художественность, это — щегольство; который требует, чтобы повѣсть «главное, вызывала вопросы», — такой критикъ, на мой взглядъ, повиненъ въ элементарно-философской безграмотности и долженъ заниматься чѣмъ угодно, — только не критикой. А если вспомнить, что раньше этотъ самый авторъ зналъ, гдѣ выходъ изъ ненужной «односторонности», и самъ возвѣщаль простую и прозрачную истину: «искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себѣ; пусть каждое идетъ своей дорогой, не мѣшая другъ другу»; если вспомнить, что ему были извѣстны эстетическія идеи Шеллинга, Гегеля, Ретшера; если вспомнить, значить, что на высотѣ онъ былъ, — то, вопреки г. Бродскому, это неотразимо приведетъ насъ къ убѣжденію, что Бѣлинскій упалъ, оказался въ духотѣ и тѣснинахъ, или же что и прежде онъ широтѣ и свободѣ внутренне не сопричащался, мимо великаго прошелъ безнаказанно, истины какъ слѣдуетъ себѣ не усвоилъ.

Если бы онъ ее органически претворилъ въ себя, ему не пришлось бы «при видѣ босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и солдата, и чиновника, и офицера, и гордаго вельможи», — ему не пришлось бы при видѣ всей этой житейской обыденности задаваться сомнѣніемъ: «и послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забываться въ искусствѣ и знаніи!» и восклицать: «начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность противъ *объективныхъ* созданій искусства» (что вмѣняетъ ему въ высокую нравственную заслугу П. Н. Сакулинъ). Ибо тогда Бѣлинскій понялъ бы, что объективныя созданія искусства какъ разъ и представляютъ собою, самымъ фактомъ своего существованія, одно изъ могучихъ средствъ противъ соціальнаго горя (какъ это понималъ, на примѣръ, Глѣбъ Успенскій, который около Венеры Милосской поставилъ сельскаго учителя Тяпушкина, — и Венера, гордая, мраморная, «объективная», исцѣлила, «выпрямила» душу приниженнаго русскаго учителя, и онъ почувствовалъ свое ари-

стократическое родство съ богиней красоты). Бѣлинскій понялъ бы въ такомъ случаѣ, что лишь тогда искусство—для жизни, когда искусство—для искусства; что никакого столкновенія между искусствомъ и жизнью нѣтъ и быть не можетъ и никакой эстетической кодексъ (вопреки г. Ляцкому) не требуетъ «презрѣнiя къ грубой дѣйствительности»; что надо только искусству быть самимъ собою,—остальное приложится, и оно, искусство, само уже войдетъ въ общую систему бытiя.

Только это и было бы синтетически-возсоединяющимъ взглядомъ на искусство и жизнь; а то, что получилось у Бѣлинскаго, это, въ противность утвержденiямъ гг. Бродскаго и Сакулина, вовсе не есть «синтезъ обоихъ методовъ—эстетическаго и историко-соціологическаго» въ литературной критикѣ (слова Н. Л. Бродскаго), вовсе не есть сочетанiе «проблемы объ искусствѣ съ тѣмъ великимъ цѣлымъ, которое называется жизнью человѣческой» (слова П. Н. Сакулина): синтезъ не поступается ни однимъ изъ синтезируемыхъ элементовъ, а Бѣлинскій поступился художественностью и даже «расхудожественностью»: что же остается отъ искусства и для искусства? Мы знаемъ, что въ этомъ своеобразномъ «синтезѣ» у Бѣлинскаго не оказалось надлежащаго мѣста даже для Пушкина. И когда П. Н. Сакулинъ говоритъ, что въ эстетическую критику Бѣлинскій внесъ «такоже методы исторической и соціологической», то хочется напомнить, что отъ слова *также* синтезъ еще не получается.

Если же, какъ указываетъ Н. Л. Бродскій въ рядѣ цитатъ, сознание эстетическихъ цѣнностей никогда не покидало Бѣлинскаго вполне, то здѣсь мой оппонентъ совершенно правъ; но вѣдь эти самыя цитаты и еще многiя другiя я именно и помнилъ, когда писалъ, что и послѣ того какъ Бѣлинскій направилъ рѣшительные шаги въ сторону вульгарнаго и наивнаго утилитаризма, его рѣшительность и на этотъ разъ, какъ всегда, оказалась «мимолетной», и «у него осталось кое-что отъ прошлаго, мелькали отблески прежняго эстетизма, мерцанiе покинутой истины». Противъ чего же, собственно

возражаетъ г. Бродскій? Вѣдь вопросъ сводится лишь къ тому, вѣрно ли мое утвержденіе, что во второй періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій «въ общемъ и главномъ покорилъ искусство эпохъ и ея социальнымъ потребностямъ, лишилъ его свободы, обрекъ его на подчиненную и служебную роль» и что, хотя были у него «обычныя уклоненія отъ этой прямолинейности и обычныя новыя возвращенія къ ней,—но основная мысль Бѣлинскаго въ завершающій періодъ его работы, въ пору его зрѣлости, мысль, бѣгущая черезъ всѣ его тогдашніе зигзаги, это—порабощеніе искусства» (стр. 5 моего очерка). Мы уже видѣли, что на сторонѣ моего утвержденія—г. Ивановъ-Разумникъ и самъ Бѣлинскій со своимъ печальнымъ девизомъ: «искусство не господинъ, а рабъ».

Неуклонно измѣряя Бѣлинскаго мною, возвращая мнѣ тѣ упреки, которые я посылаю ему, Н. Л. Бродскій по поводу моего указанія, что знаменитый критикъ не имѣлъ своего знанія и своего мнѣнія, что Надеждинъ, Полевой, Станкевичъ, Бакунинъ, Боткинъ, Герценъ, Катковъ—всѣ давали ему свѣдѣнія, мысли и даже слова,—по поводу этого мой рецензентъ дѣлаетъ «кстати» запросъ, не былъ ли я самъ «слишкомъ усерднымъ читателемъ примѣчаній С. А. Венгерова въ полномъ собраніи сочиненій Бѣлинскаго?» «Не только почти всѣ «свѣдѣнія», но и многія «слова» г. А. совпадаютъ съ тѣмъ, что и какъ указываетъ извѣстный почитатель таланта и личности Бѣлинскаго: напр., мелочный фактъ, что Б. смѣялся надъ тѣми, кто выводитъ «трагедію» отъ «козла», отмѣченъ у Венгерова въ V т., стр. 545; «безпощадная травля» Полевого на 13 стр. силуэта сливается съ выраженіемъ Венгерова—«безжалостная травля» Полевого, и мн. др.» (стр. 10 статьи-брошюры г. Бродскаго).

Если бы я былъ «слишкомъ усерднымъ читателемъ примѣчаній С. А. Венгерова» къ Бѣлинскому и всѣ мои «свѣдѣнія» и многія «слова» совпадали съ тѣмъ, «что и какъ ука-

зываетъ извѣстный почитатель таланта и личности Бѣлинскаго», то я и самъ, естественно, оказался бы такимъ почитателемъ, а этого справедливо не признаетъ г. Бродскій. И онъ не отдастъ себѣ отчета въ томъ, что своею фразой причиняетъ большую обиду не столько мнѣ, сколько почтенному С. А. Венгеру. Дальше, если я за «свѣдѣніями» обращался между прочимъ и къ обстоятельному комментарию лучшаго знатока сочиненій Бѣлинскаго, то мнѣ трудно понять, что же въ этомъ дурного. Правда, г. Бродскій тонко намекаетъ на то, что я совершилъ плагіатъ,—но вотъ съ этимъ я никакъ не могу согласиться. Я думаю, что у г. Венгерова—свои слова, а у меня—свои. Если же отношеніе Бѣлинскаго къ Полевому мы оба въ одномъ случаѣ называемъ «травлей» (я—«безпощадной», а г. Венгеру—«безжалостной»), то это не потому, чтобы мнѣ не давали спать чужіе словесные лавры и я произвелъ литературное хищеніе, а по той самой причинѣ, по какой, напримѣръ, тотъ предметъ, которымъ я сейчасъ вожу по бумагѣ, и я, и г. Венгеру имеемъ одинаково: *перо*,—совпаденіе, нисколько не подозрительное. А что касается «козла», то могу увѣрить моего изобличителя, что 545-ой страницѣ, на которую онъ ссылается, предшествуетъ, какъ это обыкновенно бываетъ, страница 75-ая: на ней-то я «козла» и нашель, въ текстѣ самого Бѣлинскаго. Тамъ же, гдѣ опредѣленный фактъ я, дѣйствительно, взялъ у г. Венгерова (свѣдѣніе о томъ, какія стихотворенія Лермонтова были напечатаны въ «Одесскомъ Альманахѣ»), тамъ я, разумѣется, по обычаю всѣхъ не крадущихъ людей, С. А. Венгерова назвалъ.

Свое тяжкое, почти уголовное обвиненіе г. Бродскій, согласно его замѣчанію, можетъ подтвердить и другими данными (кромѣ «травли» и «козла»), и даже «многими другими»,—въ такомъ случаѣ онъ обязанъ былъ это и сдѣлать. Какъ человѣкъ науки, онъ вѣдь знаетъ, что въ рецензіи, которая притязаетъ быть научной, необходимы точность, необходимы факты, и нельзя, выступая обвинителемъ, прикрываться удоб-

ной не для обвиняемого скороговоркой: «и мн. др.». Къ тому же, доказать мое преступленіе г. Бродскому, очевидно, было бы и не трудно, коль скоро, по его словамъ, онъ собралъ противъ меня, какъ мы только что видѣли, не просто еще «другія» улики, а даже и «многія» другія. Вотъ почему весь этотъ пассажъ я и оставляю на совѣсти моего оппонента.

Наконецъ, своему обыкновенію сопоставлять меня съ Бѣлинскимъ и напоминать, что я «самъ таковъ», Н. Л. Бродскій могъ бы измѣнить, хоть въ этомъ случаѣ, еще и потому, что знаменитаго критика я упрекалъ въ чрезмѣрномъ пользованіи не чужими книгами, а чужимъ устнымъ и письменнымъ словомъ; и смыслъ этого укора былъ очень далекъ отъ обвиненія въ плагиатѣ, а заключался въ томъ; что, на мой взглядъ, Бѣлинскій не былъ ревнивымъ владѣтелемъ своихъ страницъ и, въ противоположность всякому истинному писателю, не дорожилъ чувствомъ авторской собственности, давалъ говорить за себя другимъ—хотя бы Боткину и Каткову. Первому онъ пишетъ, напримѣръ: «Сейчасъ прочелъ въ письмѣ твоёмъ о Гете и Шиллерѣ—умнѣе и истиннѣе этого ничего не читалъ—просто не могу начитаться. Какъ хочешь, а вклею въ статью, подъ видомъ выписки изъ нѣкаго частнаго письма» (Письма, II, 207). Ему же онъ пишетъ: «Катковъ оставилъ мнѣ свои тетрадки—я изъ нихъ цѣликомъ бралъ мѣста и вставлялъ въ свою статью. О лирической поэзіи почти все его слово въ слово» (Тамъ же, II, 215). Этими фразами Бѣлинскій, въ порядкѣ предвосхищенія, вмѣсто меня отвѣчаетъ П. Н. Сакулину на его замѣчаніе: «Бѣлинскій воспользовался ими (тетрадками Каткова), но воспользовался по своему (*Голосъ минувшаго*, IV, 107).

И, вопреки тому же П. Н. Сакулину, дѣло здѣсь не въ томъ, какую объективную цѣнность имѣли по своему содержанию эти тетрадки или тѣ страницы о романтизмѣ, которыя для Бѣлинскаго написалъ Боткинъ, а въ томъ, что знаменитый критикъ, чуждый авторскаго самолюбія, вообще не стѣснялся свои слова замѣнять чужими.

Несмотря на то, что одно изъ своихъ опредѣленій Бѣлинскаго, какъ умственной силы: «нищій студентъ» я сдѣлалъ въ соотвѣтственномъ контекстѣ и взялъ въ кавычки, онѣ не спасли меня отъ негодующаго возгласа Н. Л. Бродскаго: «и этотъ упрекъ былъ брошенъ г. Айхенвальдомъ!»— т. е. выходить, что я въ бѣдности упрекалъ Бѣлинскаго, въ отсутствіи денегъ.

О бѣдности Бѣлинскаго укоризненно напоминають мнѣ и гг. Ч. В—скій и П. Н. Сакулинъ. По поводу моихъ словъ, что нашъ критикъ «писалъ о чемъ угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книгѣ отозваться, хотя бы даже о бумагѣ»,—замѣчаетъ г. В—скій, что это «многописаніе о вздорныхъ иногда книжонкахъ» сопровождалось для Бѣлинскаго «муками» и вынуждаемо было «самой обнаженной нуждою».

Съ моей безсердечной точки зрѣнія, при оцѣнкѣ литературы Бѣлинскаго, какъ и всякаго другого писателя, никто не обязанъ считаться съ имущественнымъ положеніемъ автора; но я не хочу на этомъ настаивать (и такъ уже г. Сакулинъ обвиняетъ меня въ «настоящемъ издѣвательствѣ надъ страдающимъ человѣкомъ»). Лучше я укажу на то, что, къ чести Бѣлинскаго и въ защиту отъ его защитниковъ, причиной его многописанія была вовсе не нужда,—причиной была внутренняя потребность. Въ подтвержденіе этого можно сослаться на слова самого Бѣлинскаго: «Вотъ навязалъ же чортъ страстишку. *Будь я богаче Ротшильда* (курсивъ мой. Ю. А.)—не перестану писать не только большихъ критикъ, даже рецензій. Какъ мнѣ ни тяжело, но работаю дюже и безъ рефлексіи—худоби, хорошо ли—но перо трещитъ, чернилъ не успѣваю подливать, бумаги исходить гибель. Видно, ужъ такъ Богъ уродилъ...» (Письма, II, 29). И трогательно звучитъ его увѣреніе, что если бы можно было безпрепятственно печатать свои страницы, то онъ бы «умеръ на дести бумаги и, если бы чернила всѣ вышли, отворилъ бы жилу и писалъ бы кровью» (Тамъ же, II, 192). Предлагая свои литературныя услуги Краевскому, онъ такъ

характеризуетъ себя: «сотрудникъ, который въ состояніи ежемѣсячно поставялъ около десяти листовъ оригинальнаго писанья или маранья... я бы желалъ взять на себя разборъ всѣхъ книгъ чисто литературныхъ и даже нѣкоторыхъ другихъ... критика своимъ чередомъ, смѣсь тоже» (Тамъ же, I, 311). «Отечественныя Записки» онъ готовъ снабжать «преогромною библіографіею и преизобильною полемикою» (I, 320). «Я ужъ усталъ—однѣхъ критическихъ статей навалялъ 10 листовъ дьявольской печати, кромѣ рецензій» (II, 94). Герцену онъ жалуется на себя, что у него «въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и низенькая манера писать обо всемъ» (III, 101). Значитъ, «бѣдность», какъ онъ самъ говоритъ, въ немъ только «развила энергію бумаго-маранія и заставила втянуться и погрязнуть по уши въ вонючей тинѣ расейской словесности» (II, 245); значитъ, Бѣлинскій самъ, сущностью своей писательской организаціи, пошелъ навстрѣчу тому, что въ послѣдствіи онъ неоднократно оплакивалъ,—т. е. своей роли въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Святители! о чемъ не пишу я ему (Краевскому), какихъ книгъ не разбираю! И по части архитектуры (да еще какой: византійской!), и по части медицины... Онъ сдѣлалъ изъ меня враля, шарлатана...» (III, 95). «У Краевского я писалъ даже объ азбукахъ, пѣсенникахъ, гадательныхъ книжкахъ, поздравительныхъ стихахъ швейцаровъ клубовъ (право!), о книгахъ о клопахъ, наконецъ, о нѣмецкихъ книгахъ, въ которыхъ я не умѣлъ перевести даже заглавія; писалъ объ архитектурѣ, о которой я столько же знаю, сколько объ искусствѣ плести кружева. Онъ меня сдѣлалъ не только чернорабочимъ, водовозною лошадыю, но и шарлатаномъ, который судить о томъ, въ чемъ не смыслить ни малѣйшаго толку» (III, 280).

Моихъ оппонентовъ, особенно гг. Иванова-Разумника и Бродскаго, глубоко возмущаетъ, что я «дерзнулъ» назвать Бѣлинскаго «Виссаріонъ-Отступникъ», что, по моему, онъ «хронически и безъ явной трагедіи» мѣнялъ свои убѣжденія.

Эту мысль мою г. Ивановъ-Разумникъ считаетъ «по истинѣ невѣроятной», взволнованно говорить о ней,—а г. Бродскій даже недоумѣваетъ: «Какъ поднялась рука написать эти ужасныя строки! Какъ не дрогнуло сердце!»

Я безъ всякой ироніи заявляю, что волненіе моихъ критиковъ для меня понятно и симпатично. Но что же мнѣ дѣлать, когда я читаю у Бѣлинскаго такія строки: «Я и теперь почти каждый день разсчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убѣжденіемъ и *постукиваю его*, а прежде такъ у меня—*что ни день, то новое убѣжденіе* (курсивы мои. Ю. А.). Вотъ ужъ не въ моей натурѣ засѣсть въ какое-нибудь узенькое опредѣленіице и блаженствовать въ немъ» (Письма, I, 334)? Какъ же мнѣ не говорить объ отступничествѣ, когда Бѣлинскій пишетъ Герцену: «И какъ хорошо, что мои статьи печатались безъ имени, и я въ новомъ журналѣ всегда могу отпереться отъ того, что говорилъ встарь, если бѣ меня стали уличать!» (III, 110)? Какъ же быть, если Бѣлинскій изо всѣхъ своихъ правъ «съ особеннымъ остервенѣніемъ» настаиваетъ на своемъ «правѣ ошибаться» (III, 332), если «соврать» ему «ни по чемъ» и одно можетъ его «привести въ дисгармонію,—это, если» онъ «холодно совралъ» (I, 221)? Гдѣ же «явная трагедія», когда, на примѣръ, начиная съ «Литературныхъ мечтаній», Бѣлинскій твердитъ, что Пушкинъ 1830-мъ годомъ кончился, «обмеръ или умеръ», а впослѣдствіи, какъ ни въ чемъ не бывало, спокойно пишетъ: «какъ смѣшны и жалки были безпокойства добрыхъ людей о паденіи поэта»?

Я не могъ не признать удручающей временности и неорганичности убѣжденій Бѣлинскаго, когда онъ самъ свое пріобщеніе къ фиктеанству именуетъ «прогулкой»: «я прогулялся по немъ (по фиктеанству) больше для компаніи, чтобы тебѣ (Бакунину) не скучно было одному», въ то время какъ для Бакунина оно было «послѣдовательнымъ переходомъ изъ одного момента въ другой» (Письма, I, 277).

Я въ своей статьѣ назвалъ рецензію Бѣлинскаго на книгу Дроздова «прекрасной»,—но самъ Бѣлинскій такъ объясняетъ

мнѣ, почему она прекрасна: «Ты (Бакунинъ) сообщилъ мнѣ фихтеанскій взглядъ на жизнь—я уцѣпился за него съ энергіею, съ фанатизмомъ; но то ли это было для меня, что для тебя? Для тебя это былъ переходъ отъ Канта, переходъ естественный, логическій; а я—мнѣ захотѣлось написать статейку—рецензію на Дроздова и для этого запастись идеями. Я хотѣлъ, чтобы статья была хороша,—и вотъ вся тутъ исторія» (I, 219).

Я въ своей статьѣ сказалъ, что Бѣлинскій «каждой мысли, каждой дамы—рыцарь только на часъ», но полчаса я прибавилъ отъ себя, потому что самъ Бѣлинскій говоритъ: «иная мысль живетъ во мнѣ полчаса» (I, 220). И если онъ, правда, здѣсь же прибавляетъ: «но какъ живетъ?—такъ, что если сама не оставитъ меня, то ее надо оторвать съ кровью, съ нервами», то я, помня, что въ психологіи методъ самонаблюденія требуетъ корректива въ методѣ наблюденія, и сопоставляя это самочувствіе Бѣлинскаго съ его же признаніями, что убѣжденія онъ постукивалъ, мѣнялъ каждый день, по нимъ прогуливался, что въ печати ему ничего не стоило «соврать»,—лишь бы «соврать» не холодно, что онъ дорожилъ правомъ ошибаться,—я питаю увѣренность, что и въ данномъ пунктѣ онъ это право свое осуществилъ и охарактеризовалъ самого себя далеко не точно, хотя бы и добросовѣстно. Я тѣмъ болѣе смѣю это утверждать, что въ своемъ очеркѣ я же взялъ Бѣлинскаго подъ защиту противъ него самого и не согласился съ нимъ, будто онъ «бралъ мысли готовые, какъ подарокъ»: я указалъ, что «съ идеями онъ сейчасъ же родился, и психологическая самостоятельность у него была». Но все дѣло въ томъ, что это родство было не близкое, скорѣе—свойство, что эта самостоятельность была не глубокой. Онъ съ идеями родился,—да; онъ ихъ усыновлялъ, но въ тотъ же часъ или черезъ полчаса снова отчуждалъ ихъ,—привязчивый отчимъ всѣхъ идей, не отецъ ни одной! Мыслитель вспыльчивый, Бѣлинскій быстро загорался и быстро погасалъ. И ничѣмъ объективнымъ не подтвердилъ онъ своего признанія, что чужія мысли онъ усваивалъ себѣ «жизнію своею, цѣною слезъ, воплемъ души»; что къ нему «приставали снаружи и тотчасъ

отваливались» только истины, привитыя чисто логически, и что потомъ, наведенный на нихъ жизнью, онъ уже принималъ ихъ съ убѣжденіемъ. Не слышится у Бѣлинскаго той органической и той трагической глубинности, которая обращаетъ Савла въ Павла, дядю Власа изъ преступника въ праведника; неуловимый, текуцій, шаткій, политеистъ убѣжденій, онъ, какъ писатель, не обнаруживаетъ въ себѣ жизненнаго нерва, какой-то послѣдней серьезности, подлиннаго я. «Моя пріимчивая натура не упустила случая кое-чѣмъ «одолжиться»—эти слова Бѣлинскаго (въ письмѣ къ Боткину) вѣрно характеризуютъ его умственную сущность. Необычайная пріимчивость и переимчивость при содѣйствіи не глубокаго, но цѣпкаго ума дѣлали то, что въ этотъ умъ идеи скоро впадали, но изъ него же выпадали, превращая Бѣлинскаго въ какой-то калейдоскопъ, гдѣ можно найти самыя различныя, порою яркія комбинаціи элементовъ и гдѣ все-таки нѣтъ единой системы. Психологическая самостоятельность его заключалась въ горячемъ темпераментѣ и въ томъ, что собственный голось его имѣлъ, разумѣется, свой особый психологическій тембръ. Но говорилъ Бѣлинскій съ чужого голоса. Онъ былъ одаренъ, но такъ, что умѣлъ лишь *продолжать* идеи, которыми одолжался у другихъ, идти дальше (или идти назадъ), вызывать иллюзію интеллектуальной собственности. На самомъ же дѣлѣ онъ почти всегда возвращалъ только то, что самъ воспринялъ раньше отъ кого-нибудь изъ своихъ собесѣдниковъ. И такъ какъ послѣднихъ было много и разнообразно, то и выходило, что подъ вліяніемъ кого-либо одного изъ членовъ кружка Бѣлинскій спорилъ и ссорился съ другими или, получивъ, на примѣръ, Гегеля изъ рукъ Бакунина, онъ потомъ сдѣлалъ изъ этого своеобразное собственное гегелианство и разошелся съ тѣмъ самымъ Бакунинимъ, на котораго Грановскій возлагалъ отвѣтственность за статьи Бѣлинскаго о бородинскомъ сраженіи. Когда г. Ивановъ-Разумникъ утверждаетъ, что «переходъ Бѣлинскаго къ «соціальности» и социализму былъ сдѣланъ вопреки и противъ мнѣнія друзей его кружка», то, кажется, упускаетъ изъ виду мой

оппонентъ, что съ ученіемъ социализма знакомили Бѣлинскаго Анненковъ и Панаевъ, переводившій для него статьи Леру; недаромъ знаменитый критикъ говорить о Панаевѣ: «а еще восхищается Леру и бредитъ «égalité, fraternité, liberté» (Письма, II, 300). Вообще, можно ли по совѣсти отвергать свидѣтельство Боткина, что «всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бѣлинскаго?» Если г. Ивановъ-Разумникъ, отстаивающій интеллектуальную самобытность Бѣлинскаго, побѣдоносно спрашиваетъ меня, чьи «внушенія» повторялъ онъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ продолженіе своего восьмилѣтняго тамъ сотрудничества, то я скажу на это, что, признавая Бѣлинскаго въ главныхъ вопросахъ крайне внушаемымъ, «рупоромъ кружка», я не думаю, однако, и никогда не говорилъ, будто ему подсказывали каждое слово, каждую рецензію, каждый отзывъ. А тѣ цитаты, которыя въ этой брошюрѣ я привелъ и еще приведу, слишкомъ ясно показываютъ, что «пріимчивая» натура нашего критика «не упускала случая кое-чѣмъ одолжиться» отъ своего петербургскаго окруженія и въ періодъ «Отечественныхъ Записокъ». Не только испытывалъ на себѣ Бѣлинскій «дьявольскую способность передавать» Михаила Бакунина (уже въ 1839 г.; см. Письма, II, 6), но даже и скромный Николай Бакунинъ, послѣ того какъ Бѣлинскій, бывало, «толкнетъ» его на мысль при совмѣстномъ чтеніи Пушкина, «уже бѣжалъ впередъ, угадывалъ ее во всякомъ стихѣ, развивалъ его такъ полно и непосредственно, такъ вдохновенно и чуждо всякой рефлексіи, что»—сознается Бѣлинскій—«право, я ему тутъ сдѣлалъ столько же, сколько и онъ мнѣ» (II, 81). И вотъ почему я больше вѣрю не П. Н. Сакулину, который на 107 стр. своей второй статьи заявляетъ, что «какъ-то странно говорить о вліяніи Каткова на Бѣлинскаго, если только не злоупотреблять этимъ словомъ», а самому Бѣлинскому, который на этотъ счетъ думалъ иначе: «къ пріѣзду Каткова я былъ уже приготовлень,—и при первой стычкѣ съ нимъ отдался ему въ плѣнъ безъ противорѣчія. Смѣшно было, хотѣлъ спорить, и вдругъ вижу, что уже нѣтъ ни силъ, ни жару, а черезъ $\frac{1}{4}$ часа,

вмѣстѣ съ нимъ, началъ ратовать противъ всѣхъ, сбитыхъ съ толку мною же» (II, 188). «Онъ (Катковъ) много разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многого бѣльшая часть воскресла и самодѣтельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда» (II, 200). «Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что пребываніе въ Питерѣ Каткова дало сильный толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнѣ, не оставивъ слѣда; но его взгляды на многое—право, мнѣ кажутся, что они мнѣ больше дали, чѣмъ ему самому» (II, 211). Если П. Н. Сакулинъ вообще вѣритъ Бѣлинскому, то можетъ быть, и онъ здѣсь больше повѣритъ ему, чѣмъ себѣ?

По тому же вопросу о безболѣзненной и легкой переменчивости нашего критика, Н. Л. Бродскій указываетъ мнѣ, что, вопреки моему утверженію, Бѣлинскій не только въ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печати «признавался въ своей измѣнчивости», и при этомъ отсылаетъ меня къ его сочиненіямъ—т. V, стр. 445 и т. IV, стр. 482.

Такъ какъ рѣчь идетъ о «явной трагедіи», то г. Бродскій долженъ былъ бы цитировать меня особенно точно; и тогда обнаружилось бы, что я говорилъ не о томъ, «признавался» ли Бѣлинскій въ своей измѣнчивости или нѣтъ, а о томъ, «сокрушался» ли онъ о ней: это—большая разница. Кромѣ того, ссылка моего рецензента—странная: если онъ имѣлъ въ виду сочиненія Бѣлинскаго подъ редакціей Венгерова, то ни 445 стр. V т., ни 482 стр. IV т. не подтверждаютъ мысли г. Бродскаго.

На 482 стр. IV т. Бѣлинскій вообще о себѣ лично, вопреки моему оппоненту, не произноситъ ни слова: онъ тамъ противопоставляетъ людей, постоянно формирующихся, людямъ, совершенно готовымъ, въ родѣ Менцеля, «бѣднымъ, жалкимъ, ограниченнымъ, мелкимъ», и предпочтеніе отдаетъ первымъ, т. е. самому себѣ (если, какъ думаетъ г. Бродскій, критикъ разумѣлъ самого себя); такимъ образомъ, 482 страница IV т. во всякомъ случаѣ подтверждаетъ указаніе не г. Бродскаго, а мое,—т. е. слова моего этюда о томъ, что, въ печати, несмирному Бѣлинскому случалось даже насмѣшливо выговаривать лицамъ,

которыя однажды навсегда составили себѣ опредѣленные мнѣнія.

Что касается 445-й страницы V тома, то Бѣлинскій, дѣйствительно, говорить тамъ о себѣ,—говорить, что театръ давно уже пересталъ быть для него храмомъ. *По этому поводу* онъ восклицаетъ: «Боже мой! какъ я перемѣнился! Но эта метаморфоза—общій удѣлъ всѣхъ людей». И авторъ проситъ «не смотрѣть на него съ ненавистью, не осуждать его за «желчную злость»: она-де объясняется тѣмъ, что «нѣкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душѣ жили высокіе идеалы, а теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, и идеалы разлетѣлись при грозномъ свѣточѣ опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаньемъ мститъ дѣйствительности за то, что она такъ жестоко обманула его». Предоставляю г. Бродскому и читателямъ судить, что все это имѣетъ общаго съ моимъ тезисомъ: Бѣлинскій хронически, безъ явной трагедіи мѣнялъ *убѣжденія* и въ печати объ этомъ не сокрушался.

Основной грѣхъ моей характеристики Бѣлинскаго П. Н. Сакулинъ видитъ въ томъ, что я создалъ для него «нарочито-аляповатую» психологію, и притомъ такую, которая идетъ въ разрѣзъ съ моимъ обычнымъ пониманіемъ людей вообще и писателей въ особенности. Именно, по мнѣнію моего оппонента, высказанному въ его первой статьѣ и подробно развитому во второй, есть противорѣчіе между моимъ убѣжденіемъ, что «ничьимъ продуктомъ не служитъ никакая личность», и моимъ утвержденіемъ, что Бѣлинскій—постоянный объектъ различныхъ вліяній, «руководимый руководителемъ, аккумуляторъ чужого».

Неужели, однако, надо разъяснять, что никакого противорѣчія между этими двумя тезисами нѣтъ? Развѣ быть продуктомъ и быть объектомъ вліяній, это—одно и то же? Ничья личность не есть ничей продуктъ; но есть такія личности, которыя очень легко поддаются разнымъ вліяніямъ. Чтобы признавать по-

слѣднее, вовсе не надо быть, вопреки П. Н. Сакулину, детерминистомъ, и своему индетерминизму я не измѣнялъ. Есть личности активныя, и есть пассивныя. При этомъ я вѣдь говорилъ, разумѣется, только объ умственной личности, о Бѣлинскомъ-авторѣ, объ интеллектуальныхъ вліяніяхъ,—о всякихъ идеяхъ, мысляхъ, свѣдѣніяхъ, взглядахъ, оцѣнкахъ, теоріяхъ, о томъ, что идетъ извнѣ; я говорилъ, что «въ чисто интеллектуальномъ смыслѣ» у Бѣлинскаго не было своего мнѣнія и своего знанія, своего a priori. И развѣ въ самомъ дѣлѣ не существуютъ мыслители чужихъ мыслей? Въ психологической же самостоятельности, какъ мы уже видѣли, я Бѣлинскому не только не отказывалъ, но совершенно опредѣленно и настойчиво ее за нимъ призналъ (стр. 6). И такъ странны, хотя и неоспоримы, именно потому странны, что неоспоримы, слова П. Н. Сакулина: «Его (Бѣлинскаго) не смѣшаешь ни съ Станкевичемъ, ни съ Бакунинымъ, ни съ Катковымъ, ни съ Боткинымъ» (стр. 106 *Голоса минувшаго*). Оттого мы и носимъ собственные имена, что насъ нельзя смѣшать другъ съ другомъ. У cadaго есть своя душа, и ничья душа не парь. Всякій индивидуумъ—индивидуальность. Развѣ изъ этого правила я дѣлалъ для Бѣлинскаго исключеніе? Я уже выше сказалъ, что чужія идеи произносилъ Бѣлинскій голосомъ, конечно, *особаго* психологическаго тембра,—не того, какой былъ у Бакунина или у Станкевича, или у кого-нибудь еще. Мнѣ только казалось и кажется, что самимъ собою, живой индивидуальностью, Бѣлинскій былъ гораздо больше—какъ человекъ, въ своей частной жизни (которой я не касался), чѣмъ въ своихъ произведеніяхъ. Не всякій пишущій выражаетъ себя въ своемъ писательствѣ (этимъ я не имѣю въ виду *художниковъ, поэтовъ*). Недаромъ и нѣкоторые изъ собесѣдниковъ Бѣлинскаго находили его письма интереснѣе его писаній, а его разговоры интереснѣе его писемъ. И теперь г. Ляцкій, какъ я упомянулъ раньше, считаетъ Бѣлинскаго «*свѣтящимся человекомъ*»; онъ же думаетъ, что «его письма переживутъ его статьи». Дѣйственное, творческое начало Бѣлинскаго, вѣроятно, уходило не столько въ его дѣла, сколько въ его дни,—въ самую жизнь. И какъ разъ по-

тому, что, въ противность указанію П. Н. Сакулина, я не забль, а помнилъ свой тезисъ: «существенно, *кто* испытываетъ воздѣйствія среды, а не то, *какія* это воздѣйствія»,—какъ разъ поэтому, помня *кто* Бѣлинскаго, я и пришелъ къ своему выводу, что онъ былъ Перъ Гюнтонъ русской критики. Испытываетъ вліянія всякій; но одни противопоставляютъ имъ себя, глубоко ихъ перерабатываютъ, изъ чужого дѣлаютъ свое; другіе же навсегда остаются измѣнчивы, внѣшни, поверхностны. Такъ какъ духовное *кто* Бѣлинскаго-писателя, по моему, состояло, кромѣ чисто-словеснаго дарованія, въ легкой возбудимости, въ живомъ темпераментѣ, въ постоянномъ и безпредметномъ кипѣніи, не содержало въ себѣ субстанціального зерна (субстанція была не въ интересномъ для Россіи Бѣлинскомъ, а въ Виссаріонѣ Григорьевичѣ), то чужія идеи мало шли ему въ прокъ, и онъ не сдѣлался тѣмъ истиннымъ мыслителемъ, который представляетъ собою органическое единство великаго ума и великаго сердца, цѣльную и могучую натуру.

И если П. Н. Сакулинъ насмѣшливо утверждаетъ, что я не нашель въ Бѣлинскомъ «дѣйственной души, а такъ какую-то студенистую массу, которая то расширяется, то сжимается, принимаетъ разнообразныя формы», то противъ такого опредѣленія (впрочемъ, не моего, а именно г. Сакулина) не всегда протестоваль бы и самъ Бѣлинскій, который даже сходное выраженіе о себѣ употребилъ: «изрѣдка довольно сильная, но чаще *расплывающаяся* натура» (Письма, II, 347).

Тѣ признаки «психологической самостоятельности» Бѣлинскаго, которые я назвалъ нѣсколькими строками выше, были перечислены мною и въ моемъ силуэтѣ; оттого неправиленъ упрекъ г. Ч. В—скаго, будто я «не попытался даже опредѣлить, въ чемъ же она состояла»,—не говоря уже о томъ, что вѣдь весь мой очеркъ, вся моя характеристика Бѣлинскаго и является посильнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Такъ какъ мой этюдъ явился для второй статьи П. Н. Сакулина «Психологія Бѣлинскаго», какъ онъ самъ говоритъ, только «поводомъ» и эта статья въ основной своей части по

существо вполнѣ самостоятельна и сохраняетъ всѣ свои права, даже и не какъ возраженіе мнѣ, то я и не обязанъ слѣдить за тѣмъ, насколько вѣрно изображаетъ почтенный авторъ психическую жизнь Бѣлинскаго, насколько точно рисуетъ онъ ея «типъ». Самъ П. Н. Сакулинъ утверждаетъ, что другіе оппоненты уже сдѣлали мнѣ «немало цѣнныхъ фактическихъ возраженій»; онъ же, съ своей стороны, хотѣлъ бы сосредоточиться, «главнымъ образомъ, на личности Бѣлинскаго, на его психологіи», такъ какъ это-де «имѣетъ первенствующее значеніе въ возникшей полемикѣ». Эта психологія для г. Сакулина—«большая посылка», обуславливающая все построеніе моего силуэта, все главное въ моей характеристикѣ Бѣлинскаго. Въ свою очередь, въ томъ умозаключеніи, которое строить П. Н. Сакулинъ для характеристики моего силуэта, т. е. моего пониманія психологіи Бѣлинскаго, большою посылкой является, какъ я уже показалъ, большое недоразумѣніе. Оно состоитъ въ невѣрной мысли моего оппонента, будто я отказываю Бѣлинскому въ психологической самостоятельности, въ самодовлѣющей душевной личности. Вотъ почему, выяснивъ, что здѣсь—именно недоразумѣніе, что у меня въ силуэтѣ всѣми буквами о существованіи въ Бѣлинскомъ психологической самостоятельности напечатано, я имѣю право отвѣчать только на тѣ *фактическія* опроверженія, которыя, по словамъ П. Н. Сакулина, предъявили мнѣ другіе рецензенты, и только на тѣ, фактическія тоже, указанія, которыя въ своей работѣ сдѣлалъ мнѣ самъ г. Сакулинъ. Этимъ, повторяю, ограничиваются мои обязанности по отношенію къ его статьѣ, какъ *возраженію* на мою статью.

Но, не обязанный провѣрять, законно и правильно ли П. Н. Сакулинъ въ своемъ обще-психологическомъ и характерологическомъ экскурсѣ причисляетъ Бѣлинскаго «къ категоріи *эмоціональныхъ характеровъ*» (по «классификаціи Бена») или «къ категоріи *активно-эмоціональныхъ*» (по «терминологіи Кейра»); освобожденный отъ необходимости говорить *по существу* этой коренной части его очерка и въ данномъ пунктѣ съ авторомъ спорить (къ тому же, съ точки зрѣнія П. Н. Сакулина, это

было бы и безнадежно, такъ какъ въ обѣихъ своихъ статьяхъ онъ прямо заявляетъ, что я, по самому складу своей личности, просто органически неспособенъ постигнуть Бѣлинскаго и его «сложная натура недоступна пониманію» моему),—я все-таки позволю себѣ, въ порядкѣ необязательности, отмѣтить, что въ своей работѣ П. Н. Сакулинъ впалъ въ роковую *методологическую* ошибку.

Я опять долженъ напомнить основное правило научной психологии: методу самонаблюденія нуженъ коррективъ въ методѣ наблюденія. Г. Сакулинъ почти совсѣмъ упустилъ это изъ виду. Опредѣляя психику Бѣлинскаго по его письмамъ, онъ опирается на то, что о ней же говоритъ самъ Бѣлинскій. Душу знаменитаго критика онъ выясняетъ по тѣмъ субъективнымъ показаніямъ, которыя даетъ о своей душѣ знаменитый критикъ. Нѣсколько десятковъ цитатъ, приводимыхъ г. Сакулинымъ, имѣютъ своимъ подлежащимъ я. Лишь три-четыре цитаты принадлежатъ А. Григорьеву, М. М. Попову, Герцену, В. Э. Одоевскому. При этомъ, что особенно важно, весь матеріалъ писемъ Бѣлинскаго не использованъ въ той интересной, существенной и большой части его, гдѣ критикъ самонаблюденіемъ специально не занимается, гдѣ о своей психикѣ онъ прямо и преднамѣренно не повѣствуетъ, но гдѣ она, несмотря на это или именно поэтому, выступаетъ особенно ярко и непосредственно. Тамъ, гдѣ П. Н. Сакулинъ долженъ былъ бы посмотреть со стороны, онъ смотритъ глазами Бѣлинскаго. Тамъ, гдѣ нужно бы зоркое наблюденіе, П. Н. Сакулинъ доверчиво слѣдуетъ самоощущенію наблюдаемаго. Какимъ свой характеръ характеризуетъ Бѣлинскій, такимъ его и принимаетъ П. Н. Сакулинъ. Онъ слишкомъ говоритъ его словами. Ясно, какая получается отсюда нежелательная (или для почитателей Бѣлинскаго—желательная) односторонность.

Кто станетъ оспаривать цѣнность для психолога интроспекціи Бѣлинскаго, его собственнхъ откровеній и откровенности? Но кто же не согласится, что для психологическаго портрета (или даже силуэта) этихъ данныхъ мало? Вѣдь, если бы

мы хотѣли, напримѣръ, уяснить себѣ этическій обликъ Бѣлинскаго, мы, конечно, приняли бы во вниманіе, что самъ онъ неоднократно именуется себя благороднымъ (хотя бы въ письмѣ къ Станкевичу 1839 г.: «ты самъ знаешь, что я человекъ необыкновенно благородный и до всего унижусь—только не до подлости»; или, въ разныхъ другихъ письмахъ: «я дѣйствовалъ съ благородной цѣлью»; «я страдалъ, потому что былъ благороденъ», и т. д.); но этой самохарактеристикой ни въ какомъ случаѣ нельзя было бы удовлетвориться.

И если по поводу недавно опубликованныхъ писемъ знаменитаго критика П. Н. Сакулинъ выражаетъ надежду: «Самъ Ома невѣрующій можетъ вложить теперь свои персты въ язвы Бѣлинскаго и долженъ увѣровать въ него», то я, наоборотъ, не только укрѣпился нынѣ въ своей нерадостной позиціи Омы, но даже и П. Н. Сакулину, какъ автору статьи «Психологія Бѣлинскаго», рѣшилъ бы пожелать больше научнаго скептицизма. Въ наукѣ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ скупѣе наша довѣрчивость.

Еще кое въ чемъ долженъ я отвѣтить П. Н. Сакулину. Что «въ Пушкинѣ прославленный критикъ увидѣлъ *только* «русскаго помѣщика»,—этого я, вопреки неточной цитатѣ г. Сакулина, не говорилъ; а что «русскаго помѣщика» онъ увидѣлъ въ немъ, это я, дѣйствительно, сказалъ. И что же? развѣ это не вѣрно, развѣ не настаиваетъ Бѣлинскій на «паоосѣ помѣщичьяго принципа» у Пушкина, на его «генеалогическихъ предразсудкахъ»? Не за это ли, между прочимъ, Г. В. Плехановъ призналъ у Бѣлинскаго чутье «геніальнаго социолога»? По мысли П. Н. Сакулина, это въ статьяхъ знаменитаго критика о Пушкинѣ несущественно, и «до Г. В. Плеханова никто, въ сущности, и не обращалъ вниманія на тѣ фразы Бѣлинскаго, гдѣ говорится о Пушкинѣ, какъ «русскомъ помѣщикѣ»... Нѣтъ, отчего же? Если писателя читать внимательно, то прочтешь у него все, что онъ написалъ. И во второй своей статьѣ самъ П. Н. Сакулинъ призналъ, что и до г. Плеханова этого «русскаго помѣщика» замѣтили.

Когда я говорилъ, что Бѣлинскій какъ-то не уставалъ отъ

беллетристики и ею заслонялъ передъ собою жизнь, что онъ не оградилъ себя отъ нравственной пыли своего ремесла, я имѣлъ въ виду не частныя заявленія въ письмахъ, на которыя указываетъ П. Н. Сакулинъ, не эти обычные вопли журналиста, усталаго работника,—я имѣлъ въ виду *статьи* Бѣлинскаго, и вотъ въ нихъ, внутри, въ его книгахъ, мнѣ чужалась только книжность, неутомленность души отъ литературы, присутствіе журнальныхъ дрязгъ и отсутствіе какой-то живой, надлитературной заинтересованности. Въ письмахъ же Бѣлинскаго, дѣйствительно, часты жалобы на «ненавистную литературщину», на «грязь и соръ російской словесности», на «занятіе пошlostью и мерзостью, извѣстною подъ именемъ русской литературы».

Въ заключеніи своей второй статьи П. Н. Сакулинъ говорить: «Мы не повторимъ мнѣнія Ю. И. Айхенвальда, что ходъ русской культуры зависѣлъ отъ одного Бѣлинскаго». Да, г. Сакулинъ не повторитъ за мною этого мнѣнія, потому что я его не высказывалъ. Я сказалъ другое: «въ высокой мѣрѣ какъ разъ Бѣлинскій повиненъ въ томъ, что русская культурная традиція не имѣетъ прочности». Я, значить, утверждаю, что Бѣлинскій имѣлъ значительное вліяніе на русскую культурную традицію; въ такой общей формѣ со мною вполне согласенъ и П. Н. Сакулинъ.

По поводу моего упрека, что Бѣлинскій, «критикъ, другихъ критиковъ называлъ критиканами», г. Бродскій направляетъ ко мнѣ лирическое обращеніе: «подумайте, современный критикъ, какъ иначе можно назвать тѣхъ», кто въ своихъ рецензіяхъ говорилъ разныя глупости,—«а, вѣдь, Бѣлинскій именно этихъ «критиковъ» имѣлъ въ виду (т. V, стр. 483—4)».

На это я, современный критикъ, подумавъ, отвѣчаю: во-первыхъ, не только на цитируемую Н. Л. Бродскимъ страницу опирался я; во-вторыхъ, какую бы нелѣпость ни печатали критики, другому критику не слѣдуетъ называть ихъ критиканами: это не по-товарищески; въ-третьихъ, ужь если г. Бродскій ци-

тируетъ V т., 483—484 стр., то почему же онъ не прибавилъ, что тамъ Бѣлинскій признакомъ «критикана», т. е. необычайной глупостью, считаетъ и такое мнѣніе, въ силу котораго «печатно называютъ плохимъ» романъ Купера «Патфайндеръ»,—это, на оцѣнку Бѣлинскаго, «геніальное произведеніе, какимъ только ознаменовалась, послѣ Шекспира, творческая дѣятельность»? И возникаетъ опасный для Бѣлинскаго вопросъ, кто же въ данномъ случаѣ—критикъ и кто—«критиканъ».

Мы вообще далеко расходимся съ Н. Л. Бродскимъ во взглядахъ на Бѣлинскаго. Оттого мой оппонентъ «только съ удивленіемъ пожимаетъ плечами» даже на такое мое невинное и неоспоримое мнѣніе, что знаменитый критикъ «слишкомъ цитируетъ», «слишкомъ пересказываетъ содержаніе книги». Я вспоминаю добродушныя слова Полевого, переданныя Бѣлинскому Кольцовымъ: «я не знаю, что онъ за чудакъ такой (Бѣлинскій), пишетъ, да и только—посмотрите, Бога ради—цѣлые монологи, цѣлыя сцены изъ Гамлета, для чего это—не знаю, вѣдь, Гамлета всѣ знаютъ. Довольно бы, кажется, было два-три стиха для примѣра, а ниже сказать, «и прочее», вотъ докуда». И какъ Бѣлинскій цитировалъ «Гамлета», такъ онъ цитировалъ все.

Само собою разумѣется, вѣрный своему методу, г. Бродскій не забываетъ прибавить, что я самъ таковъ, что это я чрезмерно цитирую. Здѣсь я позволю себѣ сказать два слова pro domo mea, потому что въ нихъ будетъ содержаться и указаніе на Бѣлинскаго. Въ «Montagsblatt der St.-Petersburger Zeitung» отъ 19 февраля 1907 г. я въ статьѣ г. Arthur Luther'a о моихъ «Силуэтахъ» имѣлъ удовольствіе прочесть, между прочимъ, такія строки (переведу ихъ съ нѣмецкаго): «Техника цитированія у большинства русскихъ критиковъ такова, что, право, ее не слишкомъ трудно усвоить себѣ... Даже Бѣлинскій, у котораго по истинѣ было что сказать своего, все-таки не обходился почти никогда безъ цитатъ въ цѣлыя страницы. Метода Айхенвальда—совсѣмъ другая».

Н. Л. Бродскому «не хочется говорить о странности мнѣнія, будто Бѣлинскій «травилъ» все время Полевого: подлинныя статьи его краснорѣчиво утверждаютъ противное».

Что «все время», я не говорилъ (зачѣмъ же искажать мое утвержденіе?), а что «травилъ»—да (именно совпаденіе этихъ словъ у С. А. Венгерова и у меня, какъ мы видѣли, показалось Н. Л. Бродскому подозрительнымъ). Г. Ч. В.—скій тоже въ этой моей квалификаціи отношенія Бѣлинскаго къ Полевому видитъ одно изъ проявленій моей «непомѣрной придирчивости» и утверждаетъ, что «вѣдь «травили» Полевого, если здѣсь умѣстно это слово, за то, что онъ во второй половинѣ дѣятельности прикнудилъ къ позорному въ исторіи русскаго общества союзу Булгарина и Греча; Бѣлинскому же принадлежитъ не только извѣстная общая, глубоко сочувственная посмертная оцѣнка Полевого въ отдѣльной статьѣ о немъ, но подобная же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ оцѣнка дана также и при жизни Полевого въ отзывѣ объ Очеркахъ русской литературы»...

Посмертная оцѣнка Полевого! Какою, невѣдомо для г. Ч. В.—скаго, звучитъ это горькой ироніей! Вѣдь травить можно только живого. До сихъ поръ нельзя безъ острой жалости, безъ волненія читать потрясающія письма Полевого къ брату Ксенофону; они показываютъ, какъ бился несчастный писатель и его семья въ тискахъ нужды и недуговъ, и правительственныхъ гоненій; и Бѣлинскій все это зналъ, и Бѣлинскій усердно и злорадно подливалъ свой ядъ въ нестерпимо горькую чашу того, съ кѣмъ раздѣлялъ недавно физическую и нравственную хлѣбъ-соль. Злые и несправедливыя статьи печаталъ онъ противъ него, обрекая себя «на раздавленіе ядовитой гадины» и радуясь, что «стрѣлы доходятъ до него, и онъ бѣсится» (Письма, II, 42). Какой отравой напивало свои литературныя стрѣлы «великое сердце» Бѣлинскаго, можно видѣть особенно потому, что его письма вводятъ насъ въ эту ужасную лабораторію и мы читаемъ въ нихъ о Полевомъ по истинѣ каннибальскія строки. Вотъ, на примѣръ: «Нѣтъ, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливы-

ми, ни даже преувеличенными. Если бы я могъ раздавить моею ногой Полевого, какъ гадину—я не сдѣлалъ бы этого только потому, что не захотѣлъ бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавецъ, подлець первой степени: онъ другъ Булгарина, protégé Греча... пріятель Кукольника; безсовѣстный плутъ, завистникъ, низкопоклонникъ, дюжинный писака, покровитель посредственности, врагъ всего живого, талантливаго... Онъ проповѣдуетъ ту расейскую дѣйствительность, которую такъ энергически нѣкогда преслѣдовалъ, которой нанесъ первые сильные удары... Для меня уже смѣшно, жалко и позорно видѣть его фарисейско-патріотическія, предательскія драмы народныя... его дружба съ подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, отъ которыхъ гибнетъ наша литература, страждутъ истинные таланты, и лишено силы все благородное и честное—нѣтъ, братъ, если я встрѣчусь съ Полевымъ на томъ свѣтѣ—и тамъ отворочусь отъ него, если только не наплюю ему въ рожу... Не говори мнѣ больше о немъ—не кипяти и безъ того кипящей крови моей. Говорятъ, онъ недавно былъ боленъ водяною въ головѣ (отъ подлыхъ драмъ)—пусть заведутся черви въ его мозгу, и издохнетъ онъ въ мукахъ—я радъ буду. Богъ свидѣтель—у меня нѣтъ личныхъ враговъ, ибо я (скажу безъ хвастовства) по натурѣ моей выше личныхъ оскорбленій, но враги общественнаго добра—о, пусть вывалятся изъ нихъ кишки, и пусть повѣсятъ они на собственныхъ кишкахъ—я готовъ оказать имъ послѣднюю услугу—расправитъ петли и надѣтъ на шею... И ты (Боткинъ) заступаешься за этого человѣка, ты (о, верхъ наивности!), думаешь, что я скоро раскаюсь въ своихъ нападкахъ на него. Нѣтъ, я одного страстно желаю въ отношеніи къ нему: чтобъ онъ валялся у меня въ ногахъ, а я каблукомъ сапога размозжилъ бы его изсохшую, фарисейскую, желтую фізіономію. Будь у меня 10.000 рублей денегъ—я имѣлъ бы полную возможность выполнить эту процессію» (Письма, II, 196—199).

Да, онъ умѣлъ ненавидѣть, Виссаріонъ Бѣлинскій!.. За что же, однако, эта возмутительная ненависть, дикое сладострастіе

этой «процессіи»? Какъ мы видѣли, самъ гуманнѣйшій критикъ (да и защитники его, гг. Ч. В—скій и П. Н. Сакулинъ) объясняютъ ее характеромъ литературной дѣятельности Полевого въ ея второй періодъ. Но если вспомнить, что приведенныя строки Бѣлинскаго написаны очень скоро послѣ статей о Бородинскомъ сраженіи и о Менцелѣ, что самъ Бѣлинскій никогда не былъ бѣденъ патріотизмомъ и націонализмомъ, что патріотическія пьесы Николая Полевого были вполнѣ искренни, то упомянутое объясненіе покажется весьма неубѣдительнымъ. Ничего столь дурного не дѣлалъ и не писалъ несчастный Полевой, чтобы, даже принимая во вниманіе темпераментъ и характеръ Бѣлинскаго, можно было то кровожадное чувство, какое онъ испытывалъ къ своему бывшему покровителю, хоть приблизительно истолковать общественностью. Панегиристы знаменитаго критика отвергаютъ ту версію, которую для освѣщенія этого чувства предложилъ братъ Полевого, Ксенофонтъ. Изъ его «Записокъ» и изъ писемъ Кольцова, который, по настоятельному требованію Бѣлинскаго, передавалъ ему все, что говорилъ о немъ, Бѣлинскомъ, Полевой, мы знаемъ, что послѣдній не принялъ въ свой журналъ «Сынъ Отечества» огромной статьи Бѣлинскаго (о «Гамлетѣ»), не нашель ему литературныхъ занятій въ Петербургѣ, не выписалъ его туда изъ Москвы, такъ какъ—сообщалъ Николай Полевой брату—во-первыхъ, «надобно дать время всему укласться, и затягивать челоуѣка сюда, когда онъ при томъ такой неукладчивый (и довольно дорого себя цѣнить), было бы неосторожно всячески, и даже по политическимъ отношеніямъ»; и, во-вторыхъ, «начисто ему поручить работу нельзя, при его плохомъ знаніи языка и языковъ и недостаткѣ знаній и образованности». Къ этому прибавлялъ Николай Полевой: «Все это нельзя ли искусно *объяснить*, увѣривъ при томъ (что, клянусь Богомъ, правда), что какъ челоуѣка я люблю его и радъ дѣлать для него что только мнѣ возможно. Но, при объясненіяхъ, щади чувствительность и самолюбіе Бѣлинскаго. Онъ достоинъ любви и уваженія, и бѣда его одна—нелѣпость». Такъ эту версію, т. е. предположеніе,

что Бѣлинскій былъ озлобленъ на Полевого и восемь лѣтъ метилъ ему—за отказъ въ напечатаніи статьи (и за переданное Кольцовымъ и Ксенофонтомъ Полевымъ общіе отзывы объ авторѣ ея),—это рѣшительно отклоняетъ, напримѣръ, С. А. Венгеровъ, иронически восклицая: «объясненіе необыкновенно правдоподобное». Я же лично вынужденъ здѣсь выступить какъ *advocatus diaboli* и заявить, что психологически неправдоподобнымъ я считаю, наоборотъ, объясненіе исключительной ненависти Бѣлинскаго изъ причинъ идейныхъ. Если, «какъ воронъ на падаль», накидывался Бѣлинскій на каждую строку Полевого и заранѣе видѣлъ въ немъ добычу своихъ литературныхъ набѣговъ, свою обреченную монополію («Полевой—да не прикаснется къ нему никто, кромѣ меня! Это моя собственность, собственность по праву»); если, впадая въ беззащитное противорѣчіе съ самимъ собою, онъ, напримѣръ, издѣвался надъ тѣмъ самымъ переводомъ «Гамлета», принадлежащимъ Полевому, который раньше, до личной размолвки съ переводчикомъ, вызывалъ у него безудержное восхищеніе,—то слишкомъ обидно для русской общестственности объяснять это ея интересами, вдохновляющей заботой о нихъ. А для памяти Полевого обидно то, что г. Ч. В.—скій непостижимымъ образомъ находитъ «подобную же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ оцѣнку» его дѣятельности, т. е. подобную «глубоко сочувственной»,—въ статьѣ Бѣлинскаго объ «Очеркахъ русской литературы», той самой статьѣ, которая полна несправедливости и пристрастія и о которой, какъ бы потирая руки, саркастически увѣдомлялъ Краевскаго безжалостный авторъ: «Нынѣшній день оканчиваю довольно обширное «похвальное слово» другу моему, Николаю Алексѣевичу Полевому». Если, говоря о своемъ «другѣ» въ прошедшемъ времени, какъ о человѣкѣ поконченномъ, Бѣлинскій иногда роняетъ вынужденныя и блѣдныя слова признанія о его прежнихъ заслугахъ, то они совершенно исчезаютъ въ общемъ потокѣ мстительной злобы. А когда затравленный Полевой умеръ, тогда... тогда Бѣлинскій, дѣйствительно, написалъ сочувственную статью о своей, между прочимъ, жертвѣ и въ одномъ мѣстѣ выразился

про него, что это былъ человѣкъ, «постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями»...

Даже такой поклонникъ «лучезарнаго блеска безпримѣрно-свѣтлой личности» Бѣлинскаго, какъ С. А. Венгеровъ (Сочин. Бѣлинскаго, III, 523),—и тотъ долженъ былъ на послѣдокъ, не въ III, а въ V томѣ (стр. 552), констатировать въ своемъ любимцѣ по отношенію къ Полевому «безконечную несправедливость и жестокость»,—и къ тому же проявленный тогда, когда, разоренный послѣ закрытія правительствомъ «Московского Телеграфа», Полевой изнывалъ въ борьбѣ съ градомъ несчастій.

Такъ не зря ли обидѣлъ меня г. Ч. В—скій, считая мою характеристику отношеній Бѣлинскаго къ Полевому «непомѣрной придирчивостью»? Такъ не лучше ли, не благоразумнѣе ли поступилъ г. Бродскій, которому—правда, по особымъ соображеніямъ—вовсе «не хотѣлось говорить» объ этой моей «странной» характеристикѣ?

Въ одномъ пунктѣ я долженъ сдѣлать уступку Н. Л. Бродскому (отчасти и П. Н. Сакулину, тоже, на 116 стр. своей второй статьи, слегка касающемуся даннаго вопроса): я не имѣлъ достаточно основаній сказать, что Бѣлинскій «своими ошибками *всецѣло* обязанъ самому себѣ»; подчеркнутое слово нужно было бы замѣнить другимъ, менѣе рѣшительнымъ, такъ какъ, при общей внушаемости Бѣлинскаго, дѣйствительно, слѣдуетъ признать, что не только правильное и хорошее могъ онъ брать у другихъ, но и дурное. Однако, и здѣсь я вынужденъ отмѣтить, что г. Бродскій защищаетъ Бѣлинскаго отъ меня не такъ, какъ, съ его точки зрѣнія, было бы надо, и противорѣчитъ самому себѣ. «Кстати», спрашиваетъ мой оппонентъ, «какъ примирить его (мое) утвержденіе, что «Бѣлинскій свое хорошее и правильное получалъ отъ другихъ—своими ошибками *всецѣло* обязанъ самому себѣ», съ фактомъ, что Станкевичъ считалъ пушкинскія сказки «ложнымъ родомъ», «просто дрянью», «Конька-Горбунка» находилъ

«несноснымъ?» (стр. 15). Г. Бродскій простодушно не замѣчаетъ, что такой постановкой вопроса онъ, уже во второй разъ, выдаетъ Бѣлинскаго головой: значить, не возможно, чтобы Бѣлинскій думалъ не такъ, какъ Станкевичъ, или додумался до своихъ взглядовъ на пушкинскія сказки и «Конька-Горбунка» самостоятельно? Значить, я правъ, что Бѣлинскій вообще былъ отголоскомъ чужихъ мнѣнй (противъ чего, однако, возражаетъ г. Бродскій)? Вѣдь если стать на скользкую для Бѣлинскаго точку зрѣнйя его защитника, то послѣднй долженъ бы и мнѣ дать право строить, на примѣръ, такія умозаключенія: оттого Бѣлинскій высоко цѣнилъ Лермонтова, что Краевскій, съ которымъ нашъ критикъ въ то время былъ очень близокъ, считалъ Лермонтова «мѣркой всего великаго» («Письма», II, 252); оттого Бѣлинскій призналъ Гоголя, что, по свидѣтельству С. А. Венгерова (Собраніе его сочиненій, 1913, II, стр. 175), Гоголь «былъ истиннымъ любимцемъ всего кружка» Станкевича и «въ общемъ, увлеченіе Бѣлинскаго Гоголемъ не составляетъ его личной заслуги» (стр. 177); оттого Бѣлинскій привѣтилъ Кольцова, что на Кольцова обратилъ вниманіе, его открылъ Станкевичъ. Но такого права г. Бродскій не дастъ же мнѣ?

На мое утвержденіе, что Бѣлинскій былъ «несвѣдуць», Н. Л. Бродскій отвѣчаетъ «только ссылкой на сочиненія *подлиннаго* Бѣлинскаго да словами ученаго современника Бѣлинскаго (Грановскаго): «противнѣ всего было слушать сужденія о невѣжествѣ Бѣлинскаго!» (стр. 35).

У Грановскаго этого нѣтъ; у *подлиннаго* Грановскаго сказано такъ: «Противнѣ всего было слушать сужденія *С—ва* (Строева) и Бодянскаго о невѣжествѣ Бѣлинскаго» (Т. Н. Грановскій и его переписка, М. 1897, II, 341).

Г. Ивановъ-Разумникъ не всегда логиченъ. Онъ утверждаетъ, что похоронить придется не Бѣлинскаго, а мою статью, на которой надо поставить «безпощадный крестъ»; и это—не потому, чтобы я «дерзнулъ» возстать на Бѣлинскаго: «дѣло не въ дерзости, а въ искренности». Черезъ нѣсколько строкъ авторъ признаетъ мою искренность: значить, хоронить меня, какъ писателя, не за что? Но нѣтъ,—разрушая логичность своего построения, кромѣ искренности, уже новое требованіе предъявляетъ г. Ивановъ-Разумникъ: «наличность основательнаго фактическаго багажа».

По существу онъ правъ въ своихъ обоихъ требованіяхъ; но ни въ одной фактической ошибкѣ онъ меня не уличилъ, скудости моего багажа ни въ чемъ не показалъ. И мнѣ думается, что весь мой споръ съ противниками, въ частности, съ г. Ивановымъ, касается не фактовъ, а ихъ истолкованія. Такъ думаетъ, во второй своей статьѣ, и П. Н. Сакулинъ: «все дѣло—въ новомъ истолкованіи ранѣе извѣстныхъ фактовъ, въ своемъ углу зрѣнія» (стр. 89).

Но, какъ бы то ни было, благожелательный совѣтъ г. Иванова-Разумника «пополнить свой багажъ» я свято исполняю и буду исполнять: вѣкъ живи—вѣкъ учись.

Зато я не послѣдую другому его совѣту—сдѣлать такой наивно-статистическій опытъ: «взять знаменитыя «пушкинскія статьи» Бѣлинскаго и подсчитать въ нихъ, съ одной стороны, всѣ ошибочныя сужденія о Пушкинѣ, ...а съ другой стороны,— всѣ сужденія, сохранившія силу и до нашихъ дней»,—какихъ окажется больше? Для меня гораздо важнѣе этой ариметики общій духъ, общій смыслъ статей Бѣлинскаго, синтетическая оцѣнка Пушкина; какова же она, я на это указалъ выше.

Нелогиченъ г. Ивановъ-Разумникъ и въ томъ отношеніи, что, «хороня» мою статью о Бѣлинскомъ, онъ на ея основаніи хоронитъ и мой методъ вообще. Но развѣ въ томъ, что статья моя, по мнѣнію г. Иванова-Разумника, такъ дурна, виноватъ непременно мой методъ, а не я самъ? Вѣдь методъ-то, можетъ быть, и хорошъ, а только примѣнила его неискусная и невѣже-

ственная рука. Дѣло, можетъ быть, не въ методологіи, а въ самомъ методологѣ. Г. Ивановъ самъ же недавно утверждалъ, что «похоронить» силуэтъ надо за мое незнаніе фактовъ; а вѣдь знать факты—этого, конечно, въ первую очередь требуетъ всякій методъ, въ томъ числѣ и мой. И если мой оппонентъ справедливо замѣчаетъ, что «всякая теорія имѣетъ право на существованіе—до тѣхъ поръ, пока не разобьетъ себѣ лба о факты», то лобъ моей теоріи, слава Богу, остался цѣль, потому что и не было тѣхъ фактовъ, о которые онъ могъ бы разбиться. Во всякомъ случаѣ, повторяю, всю отвѣтственность за свою статью я возлагаю исключительно на себя, а не на свою теорію.

Г. Ивановъ-Разумникъ нелогиченъ и въ концѣ своей рецензіи: тамъ, иронизируя надъ моими словами: «благочестивому сказанію о Бѣлинскомъ соотвѣтствуетъ, чтобы и другіе честно сказали о немъ свою правду», онъ заявляетъ о себѣ, что «тоже имѣетъ право «честно сказать свою правду»... ну хотя бы о современной турецкой литературѣ», но пока отъ этого воздержится, такъ какъ «въ этомъ вопросѣ ему еще надо сильно пополнить свои свѣдѣнія». Да? Въ такомъ случаѣ, г. Ивановъ-Разумникъ ошибается: онъ не имѣетъ права говорить о турецкой литературѣ.

Многіе оппоненты указываютъ на то, что я противорѣчу самому себѣ, когда въ концѣ своего этюда говорю: «и не легко все-таки отворачиваться и отъ того реального человѣка, который имѣлъ же, значить, въ себѣ нѣчто большее, если могъ оставить послѣ себя такой прекрасный слѣдъ и сумѣлъ завѣщать своему имени такой лучистый ореолъ».

Здѣсь я, дѣйствительно, впалъ въ ошибку. Что не легко отворачиваться отъ Бѣлинскаго, это признаетъ каждый изъ моихъ противниковъ, и всѣ поймутъ психологію невольнаго разрушителя своихъ же цѣнностей. Естественно и то, что, придя къ безотраднымъ выводамъ о знаменитомъ критикѣ, я не могъ не спросить себя, почему же онъ знаменитъ,—нѣтъ вѣдь дыма

безъ огня. И вотъ здѣсь, въ своемъ отвѣтѣ, я былъ неправъ: въ области духовныхъ явленій бываетъ и безъ огня дымъ, и не всегда слава заслужена; мое *значитъ* въ приведенной выше фразѣ, во всякомъ случаѣ, не правомѣрно. Я только въ оправданіе себѣ скажу, что, не найдя большого Бѣлинскаго въ его книгахъ, я подумалъ, не шла ли отъ него, просто какъ отъ личности, какъ отъ «реального человѣка», нѣкая нравственная сила, то излученіе души, которое можетъ само по себѣ, помимо объективныхъ заслугъ, возжигать надъ именемъ ея обладателя посмертный ореолъ славы. Но теперь, еще разъ обдумавъ совокупность его писемъ (какъ извѣстныхъ раньше, такъ и опубликованныхъ впервые), этихъ слѣдовъ реальной жизни, я долженъ отъ своей мысли отказаться. По прежнему я считаю, что легенда Бѣлинскаго была дорога и плодотворна и что «журналистъ, другъ и ревнитель книги», онъ литературную новинку, «новую книгу», возвелъ на степень событія, что онъ одинъ изъ первыхъ навсегда привилъ русскому обществу устойчивый интересъ къ русской литературѣ и потребность разрѣзывать послѣдній выпускъ журнала. По прежнему, его исторической роли я не отрицаю. По прежнему, я понимаю красоту его идеализованнаго лица. Но въ реальномъ Бѣлинскомъ большого-то человѣка именно и не было.

Мнѣ кажется, я исчерпалъ всѣ фактическія указанія своихъ оппонентовъ. Читатели видятъ, долженъ ли я отказаться отъ своей характеристики Бѣлинскаго. Но я обѣщаль коснуться еще вопроса о томъ, соблюлъ ли я въ своемъ этюдѣ пропорціи, правильно ли распредѣлили свѣтъ и тѣни знаменитаго критика. Въ самомъ дѣлѣ: то, что я цитировалъ,—изъ Бѣлинскаго; то, что цитировали мои противники,—тоже изъ Бѣлинскаго: что же для него характернѣе, что его опредѣляетъ? Къ сожалѣнію, никто изъ рецензентовъ не высказался, принимаютъ ли они мои слова: «Въ пестромъ наслѣдіи его (Бѣлинскаго) сочиненій, въ ихъ диковинной амальгамѣ, вы можете найти все, что угодно,—

и все, что не угодно... На него нельзя опереться, его нельзя цитировать, потому что каждую цитату из Бѣлинскаго можно опрокинуть другою цитатою из Бѣлинскаго». Если мнѣ позволять считать молчаніе знакомъ согласія, согласія со мною, то вѣдь это убійственно для Бѣлинскаго. Самый фактъ этой незаконной роскоши, самый фактъ двухъ мнѣній о каждомъ предметѣ свидѣтельствуеть противъ расточительнаго владѣтеля такихъ противорѣчій; передъ минусами невольно поблѣднѣютъ плюсы, дурное Бѣлинскаго бросаетъ свою губительную тѣнь на его хорошее.

Я учитываю его эстетическія заслуги, но сравниваю ихъ съ его эстетическими грѣхами. Я вспоминаю, напримѣръ, его непростительное отношеніе къ Пушкину, его слова, что «сатира не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ» (исчезаетъ цѣлое теченіе отъ Ювенала до Щедрина), его слова, что «фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находится въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ» (какой вандализмъ, какое разореніе литературы, если отнять отъ нея фантастику!); я вспоминаю, что «Германа и Доротею» онъ называлъ «отвратительной пошлостью» и не находилъ поэзіи въ «Божественной комедіи»; я въ душевномъ изнеможеніи думаю о томъ, что когда онъ стоялъ передъ Сикстинской Мадонной, то она показалась ему... *comme il faut*—«*idéal sublime du comme il faut*»; я припоминаю его мысль, что «о такихъ предметахъ, какъ живопись, теперь такъ странно читать.. длинныя статьи: такъ думаютъ многіе» (Письма, III, 119); я отдаю себѣ отчетъ въ томъ, что восходившей въ его время звѣзды Тютчева онъ не замѣтилъ; я вспоминаю и многое другое, о чемъ отчасти я уже писалъ въ своемъ силуэтѣ,—и мнѣ кажется тогда, что, отрицая виноватаго передъ Дантомъ, Гете, Рафаэлемъ, Пушкинымъ, отрицая Бѣлинскаго-эстетика, я порціи соблюдаю.

Я кладу на одну чашку вѣсовъ письмо къ Гоголю, а на другую—то, что этому письму предшествовало и что за нимъ

слѣдовало, и... и я не знаю, какое же было у него общественное исповѣданіе.

Я привѣтствую его философскія устремленія, но когда я думаю о томъ, что обычная и естественная эволюція ведетъ людей отъ матеріалистическаго отрочества, отъ наивнаго утилитаризма гимназическихъ дней—дальше и выше, а Бѣлинскій, разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ, продѣлалъ дорогу обратную и уронилъ ту истину глубокой мысли, которую онъ уже воспринялъ отъ нѣмецкаго идеализма; когда я припоминаю, что философъ и критикъ Бѣлинскій былъ взрослымъ сначала, а дѣтство пережилъ потомъ,—я отказываюсь усматривать органичность въ его развитіи, я еще явственнѣе вижу въ немъ Виссаріона-Отступника.

Мнѣ очень нравятся его отдѣльные афоризмы (примѣры ихъ я привелъ въ своей статьѣ); на меня въ его письмахъ произвели сильное впечатлѣніе такія строки, какъ, на примѣръ: «я солдатъ у Бога: Онъ командуетъ, я марширую»; или въ противоположномъ настроеніи явившійся ему смѣлый образъ Браммы: «наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли—онъ слушаетъ ихъ съ цигаркою во рту»; или эта вѣрная мысль: «отъ Конта не пахнетъ геніальностью»; или горькій вопль; «безсмертна одна смерть»; или тонкая критика нравственной теплицы—кружка, изъ котораго онъ долго не могъ вырваться на вольный воздухъ своей желанной «простоты»: «мы изъ грусти дѣлали какое-то занятіе и вели протоколы нашимъ ощущеньямъ и ощущеньицамъ». Но такъ велика его шаткость, его ненадежность, такъ много у него интеллектуальной черезполосицы, такъ перемежалъ онъ свое чужимъ, умное нелѣпымъ, такъ опорочилъ онъ свое цѣнное своимъ дешевымъ, что даже тамъ, гдѣ онъ значителенъ, даже тамъ, гдѣ онъ выступаетъ Шекспиромъ, во мнѣ, иногда наперекоръ очевидности, зарождается соблазнъ бэконіанской теоріи.

И оттого, когда меня упрекаютъ (особенно гг. Ч. В—скій и Бродскій), что я «сосчиталъ на солнцѣ пятна и проглядѣлъ его лучи», сравниваютъ меня съ крыловскимъ любопытнымъ и напоминаютъ мнѣ собственные мои слова,

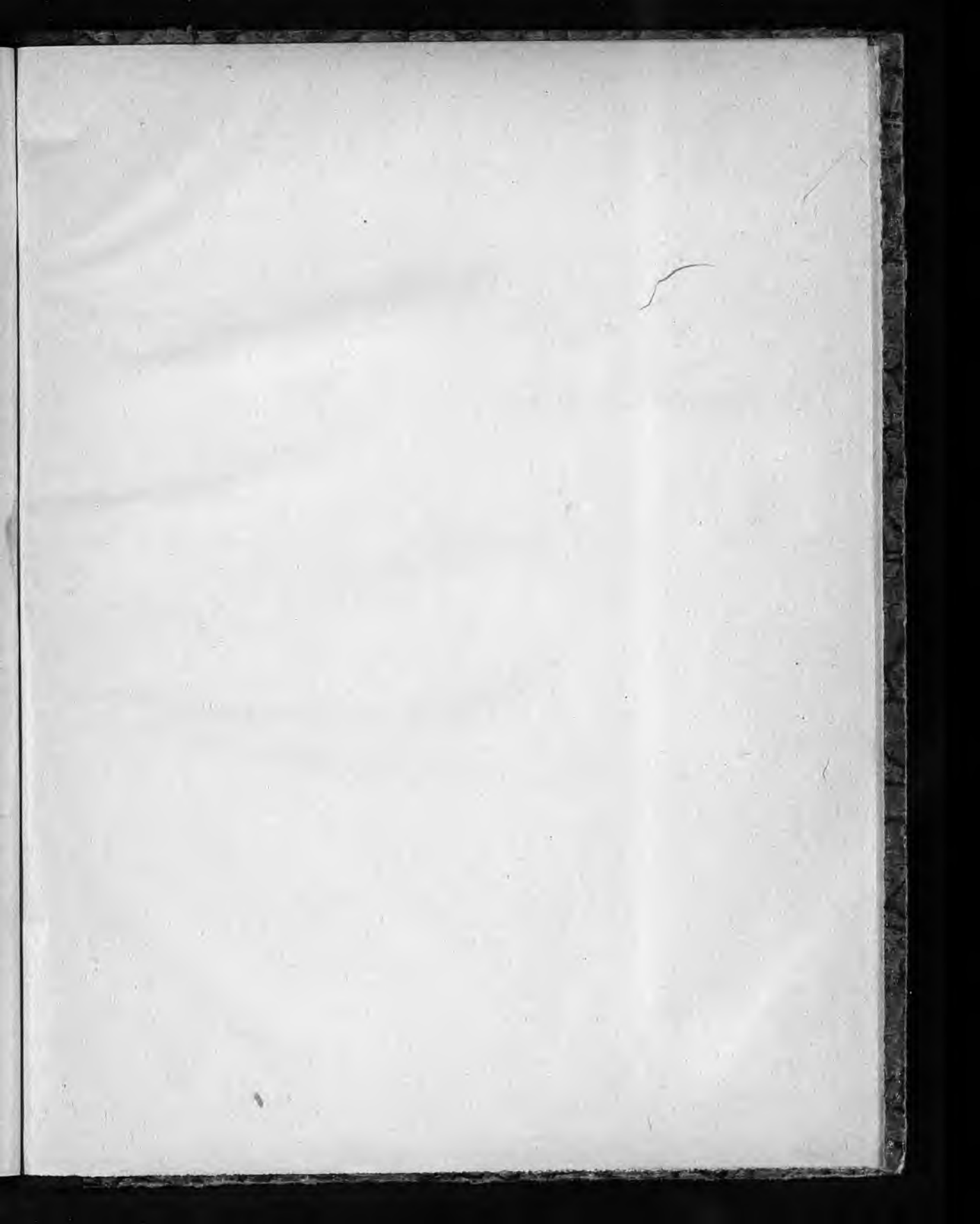
сказанныя по другому поводу: «сущность солнца не въ его пятнахъ»,—то для меня ясно, что я и мои оппоненты разное значеніе, разный удѣльный вѣсъ придаемъ той или другой страницѣ Бѣлинскаго: чтѣ для нихъ второстепенно, то для меня важно; гдѣ для меня—суть Бѣлинскаго, тамъ для нихъ—подробности; даже и такъ бываетъ: чтѣ для нихъ—лучъ, то для меня—пятно, и наоборотъ. Объективное мѣрило для выбора намъ здѣсь трудно найти. Гдѣ именно настоящій Бѣлинскій,—кто докажетъ? Дѣло рѣшается скорѣе интуиціей, непосредственнымъ впечатлѣніемъ; оттого это дѣло и спорно; оттого г. Ляцкій и находить, что «постигать» Бѣлинскаго «нужно» не мыслью, а «чувствомъ».

И уже потому одному П. Н. Сакулинъ не имѣлъ права за мое отрицаніе Бѣлинскаго отлучать меня отъ русской культурной традиціи,—при всѣхъ своихъ блужданіяхъ, неизмѣримо шире она и либеральнѣе, чѣмъ самъ Бѣлинскій и его защитники...



Замѣченныя опечатки.

Стран. 47 строка 8 сн. вмѣсто *видѣть* надо *видѣть*
 « » « 6 сн. « *говорить* « *говорить*.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding section or signature area.

